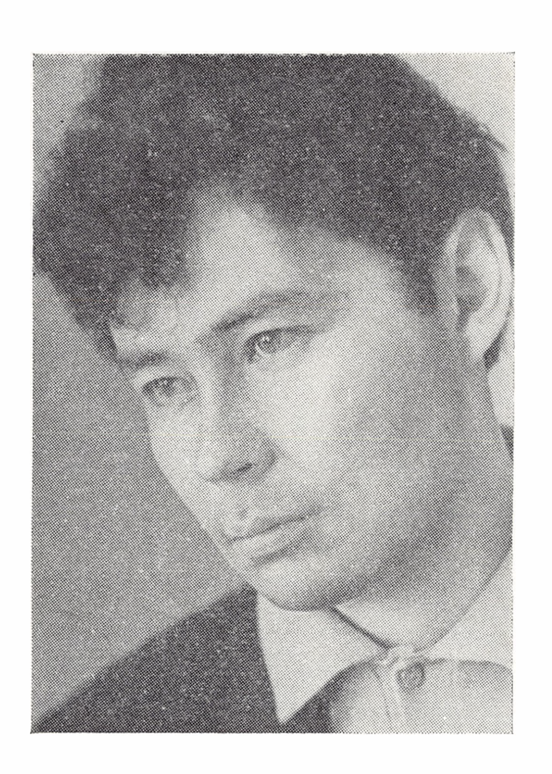
АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ

БИЛЕТ НА УСТЬ-ИЛИМ





АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ

БИЛЕТ НА УСТЬ-ИЛИМ

ПУБЛИЦИСТИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

МОСКВА 1979

Р2
В16

Составитель О. М. Вампилова

Вампилов А. В.

В16 Билет на Усть-Илим. Публицистика. Сост. О. М. Вампилова. М., «Сов. Россия», 1979.

88 с.

Известный советский драматург Александр Вампилов почти незнаком читателю как публицист. Между тем он оставил весьма своеобразные очерки, гражданская и художественная значимость которых не устарела и по сей день.

В книгу включены два публицистических цикла — «Усть-Илим» и «Прогулки по Кутулику».

«Усть-Илим» — не просто рассказ о новой жизни на берегах Ангары. Это серьезные, порой лиричные, порой скрупулезно исследовательские размышления о возникновении на сибирской земле новых городов, крупных территориально-производственных комплексов. В «Прогулках по Кутулику» Александр Вампилов рассказывает о поселке, где прошло его детство, типичном сибирском райцентре.

В $\frac{11301—078}{М\text{-}105(03)79}$ 79—79. 0802010204 Р2

УСТЬ-ИЛИМ

ПРОЛОГ

Невидимым стал пар над наледями. Тонкий мыс, палатки, свежие срубы тонут, тонут в мутных весенних сумерках.

С буровым рабочим Толей Сизых я стою над Ангарой у столовой в Постоянном. Столовая — кухня на два стола, за одним из которых мы только что съели по куску жареной колбасы и выпили по кружке чаю. Постоянный — столовая, домишко на две семьи, пилорама и общежитие буровиков, развеселое общежитие с раскладушками от самого порога. В окнах его мягкий, как воспоминание о детстве, свет керосинки. Громко ахнула дверь, в сумерках к нам подошел топограф Федя Аскеров. После работы Федя успел скатать в Невон в магазин. Он подошел к нам, капризный и мечтательный.

— Я шатун, — сказал Федя, — я пашу с утра до вечера... по тайге в снегу вот по это место. Я шатун.

Усть-илимские очерки написаны А. Вампиловым в 1963 году.

— Пройди, — сказал Толя, — пройди.

— Ты бурундук, — сказал Федя, — ты ничего не понимаешь. Я хочу чаю.

Федя вошел в столовую, мы молчали, сосны обступили нас, немые, затаившиеся. Ночь прятала их в свой черный мешок. Мы вслушивались в сиротливую трескотню пээски в палаточном городке, за Тонким мысом. В могучей, неспуганной ночи, в холодном сердце тайги мы слушали это робкое и дерзкое соло, как обещание, как вступление, за которым, как огромный оркестр, грянет небывалая стройка.

Внизу белеет река. Укрощенная в Братске, но здесь свободная и разнузданная, как зверь, вырвавшийся из клетки и забывший о ней.

Ночью, весной шестьдесят третьего года, с Толей Сизых я стою над Ангарой у Толстого мыса, рядом с будущей плотиной. Мы думаем о будущем, мы думаем о прошлом.

...Здесь были колумбы, бандиты, богомольцы, авантюристы, мыслители и революционеры.

И вот сюда пришли строители.

Уже был создан план ГОЭЛРО, а купец Яков Андреевич Черных был еще жив. Был жив и богат, хотя скрывал и то и другое. Последние годы бывший хозяин илимской тайги жил трусливо, но с надеждами. Он ждал своего часа, своего обновления, потому что он был невежда и оптимист. В Иркутске, куда он бежал в девятнадцатом году и где прятался в домишке на берегу Ангары в конце Амурской улицы, он набил тайники белой мукой, сахаром и прочим, что запас на черный свой день. Муки было семьдесят кулей. Купец не рассчитал. Он умер

от разрыва сердца, не съевши и десятой доли запасов.

История илимского края — это история о том, как купец Черных обворовывал тайгу. А обворовывал он умело. Он был самоучка, самородок, все взял сам.

Яков Андреевич был небогатый мужичок из Игнатьева, но был он нагл и крепок. И в одну прекрасную ночь внизу на Ангаре в Кежме сгорела лавка купца, а товары из лавки исчезли. Через некоторое время в Нижне-Илимске объявился новый купец Яков Андреевич Черных. До и после этого Яков Андреевич для отвода глаз таскался по селу с ящичком, прикидывался крохобором, коробейником. Но недолго. Развернулся он быстро. В обороте у него было шестьдесят четыре миллиона рублей. Конторы он имел в Братске, в Киренске, в Тулуне, в Иркутске, сплавом торговал по Витиму и Ангаре, возил белку на Иртыш, на Ирбитскую ярмарку. Записался купцом второй гильдии, хотя был купцом самой что ни на есть первой.

Старухи в Нижне-Илимске помнят его отлично. С виду это был обыкновенный, классический купец: русая борода с проседью, черная поддевка, широкое лицо, бесстыжие глаза. Яков Андреевич всю жизнь был снедаем безграмотностью, страхами, суеверием. Как-то ему сказали, что он будет жив до тех пор, пока будет строить дом. Свой дом в Нижне-Илимске он перестраивал бесконечно, всю жизнь. Конечно же, Яков Андреевич был тщеславен, и знаменитая на всю тайгу скупость не помешала ему, когда пообещали медаль, дать на строительство школы десять тысяч рублей.

В свои конторы, на заводы Черных норовил брать людей грамотных, не брезговал и политическими ссыльными.

Один из них, Максим Дмитриевич Дудченко, принятый на лосиновый завод, возглавил там революционную борьбу. В то время Яков Андреевич плохо спал и лихорадочно перестраивал свой дом. Но происшедшей в стране революции купец должного значения не придал.

На Ангаре появились колчаковцы. Разрозненные и потрепанные их отряды метались из села в село. Они нервничали и расстреливали напропалую. Дудченко скрылся в тайге. В России участь контрреволюции уже была решена, а на Ангаре все еще бесчинствовал Яков Андреевич, и прапорщик Рубцов порол в Невоне Антипиных и Анучиных.

В Нижне-Илимске Рубцов, поручик Вейс и бандит Абрам Перец выслеживали большевиков. Им повезло. Дудченко вышел из тайги. Он пришел ночью за хлебом, за одеждой, он хотел вымыться в бане. Выдали его купцы, приятели Якова Андреевича — Володин и Сизых. Каратели расстреляли Дудченко восемнадцатого мая в 1919-м.

Лиственницы, сорок лет назад посаженные в память о борце, выросли, и если в классах Нижне-Илимской школы открыть окна, слышно, как шумят они на ветру — зеленые знамена жизни и неистребимой весны.

Колчаковцы суетились и превращались в разбойников. Яков Андреевич, считавший себя основоположником здешних купцов, ничего в этом не понимал. Приход партизан внушил купцу Якову Андреевичу кое-что из элементарной политики. Он бежал, прихватив с собой, как в сказке, шкатулку с золотом.

Бежал навсегда из обворованной тайги.

В общежитии буровиков укладывались спать демобилизованные солдаты. Перед сном здесь говорили о новых бурах, о женщинах и будущих городах. Среди коек шарашился топограф Федя, трезвеющий и мрачный. В который раз называл себя шатуном, говорил о бесконечном, слепящем глаза белом снеге. Он говорил, что нигде на всей земле нет такого белого снега. Потом он уснул.

Белый снег! Мы взорвем твою тишину грохотом наших заводов, ревом наших турбин, мы исполосуем твою бесконечность сотнями дорог. Покорный, неприметный, ты будешь скрипеть под нашими сапогами.



КОЛУМБЫ ПРИШЛИ ПО СНЕГУ

Это так и есть. Ровесники Иркутского моря собираются в школу. Старик Пурсей — навсегда в воде, в статьях о Братске читаем: «На том месте, где сейчас расположен поселок Постоянный»... «Еще несколько лет назад здесь шумела напроходимая тайга»... Это так и есть.

Это так и будет. Участь Толстого мыса решена. Белый снег доживает здесь последнюю свою зиму, метели отплясывают здесь на своих последних праздниках, никогда уже не вернется ушедшая отсюда кабарга. Сдал свои ключи филин — бывший комендант Толстого мыса.

В начале декабря на вершину диабазовой твердыни взошли люди. Они подняли флаг строительства третьей на Ангаре колоссальной Усть-Илимской ГЭС. Знаменосцы, колумбы Толстого мыса, первые бригадиры первых бригад строителей провели уже здесь почти всю зиму.

Сначала семеро из Братска, потом из Воробьева, Эдучанки, Коршунихи, потом — отовсюду. Надо было срочно строить жилье для себя и для тех, кто приезжа-

ет. А приехали они почти на голое место. Было только село Невон, перезаселенное топографами, буровиками и геодезистами, был Постоянный — три домика на Тонком мысе. Трудная, баснословно временная дорога по Ангаре не позволила сразу же двинуть сюда технику и стройматериалы, колумбы превращались в робинзонов. Острый плотницкий изначальный топор на время стал здесь главным и чуть ли не единственным орудием труда.

Бригадир плотников Павел Ступак, прибывший на Толстый мыс с десятью демобилизованными солдатами, рассказывает, как вывел свою бригаду на снег, как поделили они между собой три топора и принялись за первые палатки.

Была у них еще одна пила. Вручая ее, Ступак сказал:

— Володя, Миша и ты, Володя. Вот вам инструмент, вот — тайга. Приступим к мирному созидательному труду...

В тот день солдаты умотались вконец. А ночевали в общежитии буровиков, где спали на полу, так что, если одному ночью надо было выйти, вставать приходилось всей бригаде.

И сейчас, когда строители ушли жить в собственный палаточный городок, нет во всей тайге дома гостеприимнее общежития буровиков на Тонком мысе. У печки — железной бочки, поставленной на ящик с песком, — днем и ночью греются мастера, шоферы, нормировщики, техники и выбредшие из тайги колумбы из колумбов — топографы.

Буровики, топографы и геодезисты объединены в комплексную исследовательскую партию (КИП-1). Они работают здесь давно и будут работать еще долго. Работы, которые выполняет КИП-1, имеют первостепенное

значение. Створ будущей ГЭС определен, утвержден, и теперь партия занята подготовкой технического проекта гидростанции. Идет уточнение инженерно-геологических условий для строительства.

Недавно наледи и повышение уровня Ангары согнали буровиков со льда, где они вели колонковое бурение. Они определяли глубины съемов в будущем котловане, уточняли физико-технические характеристики диабаза. На берегах буровики изучают основания плотины, ищут песок и диабазовые карьеры.

КИП-1 заканчивает изыскания под рабочие чертежи автодороги Братск — Усть-Илим, весной должна быть сдана документация по трассе ЛЭП-220 (из Братска).

В створе плотины, на островах, на улицах будущего города стучат буровые установки — идет разведка. Топографы режут тайгу острыми метровыми просеками. Следы их лыж в глубоком белом снегу станут скоро дорогами и трассами. Эти люди, живущие в зимовьях и бороздящие тайгу вдвоем и в одиночку, издалека представляются суровыми и многоопытными медвежатниками. А они молодые. А среди них — девушки. Рабочие — Николай Овсюков, Иван Мельник, Федя Аскеров, Михаил Пашаев. Техники — Валентин Марко, Галина Утина. Все молодые.

На Постоянном, в общежитии у железной печки, просмоленные ветераны тайги не спеша, как мокрые свои портянки, разматывают бесконечные рассказы о бесконечной тайге.

Рассказы их слушают вчерашние солдаты, теперь — буровые рабочие.

Строителям, которые будут сейчас сюда приезжать, не придется ночевать на полу. Палаточный городок растет на глазах, построена столовая, строится баня, склад-

ские помещения. В палаточном городке есть уже магазин.

Участок СУДР-3 на Толстом мысе и в Невоне — это сто строителей. Есть среди них «старые волки», которые строили палатки в Братске, есть «волки» и молодые — демобилизованные солдаты, за несколько дней сделавшиеся плотниками из шоферов, бульдозеристов, крановщиков.

«Старые волки» в Братске жили в благоустроенных квартирах, получали твердые и хорошие оклады, и вот они начинают жить сначала. Таковы Георгий Притула, Максим Ушацкий, Александр Ведерников, Анатолий Субботин, и много здесь их, «презревших грошевой уют».

В Братске в отделе кадров Усть-Илимской ГЭС женщин до некоторых пор на Толстый мыс решили не пускать «ка-те-го-ри-че-ски».

История о том, как кладовщик ОРСа на Толстом мысе Аня Ступак приехала к мужу из Братска, могла бы быть лирическим повествованием о любви, но история эта могла бы быть и рассказом о дерзкой для женщины мужественности. Сначала муж, бригадир-плотник Павел Ступак, в письмах наказывал жене жить в Братске, ждать, когда построят жилой поселок. Но Аня собиралась в дорогу. Павел должен был пообещать ей, что она приедет, когда он построит времянку. Но Аня уже все обдумала. Соседи засуетились. Им захотелось с первого этажа на второй, с третьего этажа — пониже. Аня просто-напросто сдала ключ и ордер в ЖКО и улетела в Нижне-Илимск. Там в аэропорту дезертиры из Невона объявили ее сумасшедшей. Она приехала февральским вечером. Бригадир только что отправил в Братск письмо, в котором сообщал жене, что начал времянку. Бри-

гадир рубил дрова у палатки. Он удивился и открыл перед женой двери палатки, где жили пятнадцать солдат. Фанерой огородили угол, в нем и поселилась семья Ступак. Потом они перешли в палатку для семейных, где «квартиры» отгорожены одна от другой прессованной бумагой.

Среди строителей много парней из Воробьева, Ершова, Каранчанки, Сизова, Невона — всех ангарских и илимских деревень. На стройке местных зовут «бурундуками». «Бурундуки» отличные плотники, в КИПе — они неутомимые топографы.

Строительных бригад на Толстом мысе пять: Павла Ступака, Михаила Дедова, Георгия Притулы, Иннокентия Перетолчина, Андрея Перевалова. В декабре на Эдучанке на строительстве базы бригады соревновались за право попасть на Толстый мыс. Здесь собрались лучшие.

По ледяной дороге, которая просуществовала так недолго, на стройку пришли машины. Их водители — участники сложнейших ледовых походов Александр Струшинский, Владимир Агафонов, Георгий Ахрименко — с нетерпением ждут новой дороги.

Новой дороги ждет вся стройка. Сейчас это главное — дорога.



ДОРОГА

Алексей Тищенко, моторист с Эдучанки, получил бульдозер и был направлен на трассу в мехколонну Николая Юдина. Мехколонна, ломая тайгу уже в двадцати километрах от Эдучанки, пробивала дорогу на Толстый мыс.

В первый же день Тищенко было поручено тащить по возникающей перед ним дороге будку, в которой ночевала бригада. Это была времянка на санях с печкой из железной бочки, с мизерным окошком, заставленная кроватями в два этажа. Будка прошла по тайге от самого Братска километров двести. Тищенко посадил ее на пень и развалил в первый же день.

Трактор, будку и Тищенко мы заметили метров за триста. Но по этой невероятной дороге наш «газик» колотился до него еще минуты две. Издалека мы увидели, что стены будки расползлись, пол рухнул и на снег вывалились шмутки.

Тищенко увидел нас тоже и заходил вокруг будки. Ему не терпелось оправдываться.

— Обормот! — сказал Каменев, начальник участка.— Вот обормот!

Мы спрыгнули с машины — Каменев, прораб строителей Шупинский и я, корреспондент.

— Что ты сделал? — спросил Каменев Тищенко.

Выпучив глаза, размахивая руками, Тищенко стал кричать в свое оправдание:

— Я один был! Я не виноват... Одному нельзя...

— Я виноват? — спросил Каменев и пошевелил скулами.

— У меня глаз на спине нет. Правильно — нет? — Тищенко спрашивал меня.

— Я виноват? — сказал Каменев. — У тебя все из рук валится, а виноват — я?..

— Одному разве положено будку таскать? Правильно — нет? — кричал Тищенко.

— Молчи! — сказал Каменев и быстро повернулся к Шупинскому. — Поезжай — привези всех. Чинить, скажи, надо — ночевать негде будет.

И мы поехали вниз, в падь, где трещали бульдозеры. Машина спотыкалась, как пьяный на лестнице, подобранный по дороге железный крюк бешено плясал и гремел в кузове. Ели преждевременной темнотой наваливались на дорогу, над ними кувыркались первые звезды. Через полкилометра мы наткнулись на бульдозер. Шупинский открыл дверцу и крикнул подходившему бульдозеристу:

— Кому вы будку тащить доверили?

— А что?

— А то, что — иди посмотри на нее. Садись!

Бульдозерист прыгнул в кузов, мы поехали дальше. Мы собрали всех, бригадир был впереди. Он ломал сухую лесину, она тихо стонала и вдруг с треском выстелилась на снегу. Бригадир отвел бульдозер в сторону, выключил мотор, стало тихо, вывороченный пень осьминогом чернел на снегу, ошеломляюще пахло землей, за-

кат бледными губами коснулся оцепеневших стволов, мы закурили.

— Ты кому будку доверил? — спросил Шупинский бригадира.

— Сломал?..

— Пополам, — сказал Шупинский. — Нашли кому доверить!

— Что я, пасти его буду?.. — И бригадир виртуозно выругался.

Возвращаясь, мы увидели костер, он бился у будки на дороге, как раненая жар-птица. Машина прыгнула, все скатились со скамейки.

— По этой дороге, — смеясь, сказал бригадир, — три года, как дятел, не проживешь. Два и — хорош.

Будку осмотрели молча; Тищенко стоял в стороне у костра.

— Это он уже вторую, — сказал Каменев. — Черт его знает, что за парень!

— Как ночевать будете?

Я подошел к Тищенко, он ковырялся в костре осиновым сучком.

— Как не повезет, так уж одно к одному, — заговорил он.

— Ты откуда?

— Из Чернигова, — ответил он, — слыхал такой город?

Я бывал в Чернигове, и мы одновременно вспомнили каштаны на улице Шевченко и ласковую реку Десну.

К костру подошли все, Каменев, протягивая к огню руки, говорил:

— Вы сейчас против Банщикова. Дальше речка Каменная, а там Бадарма. До Толстого мыса километров полста...

— Ого! Еще пахать да пахать! — сказал Миша Филиппов, бульдозерист.

Совсем стемнело. В костер подбросили, он яростно прыгал в темноту, но, непобедимая, она была натянута над нами, как черная палатка. Кругом колыхались промасленные красно-медные телогрейки бульдозеристов. Шупинский в очках у костра выглядел странно.

— Ну, — сказал Каменев и пошел к машине, — пока.

— Про горючее не забудьте, Виктор Сергеевич! — крикнул Юдин.

— Не забуду. А с этим, — Каменев махнул рукой в сторону Тищенко, — как договорились.

Каменев и Шупинский уехали, кто-то завел бульдозер, забрался в снег и покатил на будку огромный сугроб. Брешь в стене и щели были таким образом закрыты. Толя Рыжбов, вальщик, напилил сухих дров.

Вошли в будку и затопили печку. На печку поставили ведро со снегом, стали чистить картошку.

Тищенко сидел на пороге, не раздеваясь. Он сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Он курил и молчал.

Снег в ведре растаял, по очереди умывались у ржавого рукомойника, бригадир чистил кастрюлю.

— Нет, ребята, — вдруг сказал Тищенко, — я вам сани приволоку.

Рыжбов, вальщик, рассмеялся и рассказал, как Тищенко утром, толкая лесину, неожиданно выпрыгнул из трактора и побежал в сторону. Бульдозеристы хохотали.

— Я посмотреть выскочил... — сказал Тищенко.

— Посмотреть, по какой дороге бежать? — не унимался Рыжбов. — Он прыгал, как заяц...

— Я поскользнулся...

— Э, да ты не кованый.

— Правильно, Тищенко, трактор железный, его разогнуть можно, а ты, брат, с непривычки не выдержишь...

Парни развеселились. Тищенко смеялся вместе с ними, но через силу. Поспела картошка, открыли консервы, пристроились вокруг столика, от порога подвинули бочку с капустой. Печка порозовела, Леня Юревич сбросил рубаху, любовно потрогал свои мускулы, пошел крутить ветхий приемник.

— Ребята, я вам утром кушать сготовлю, — сказал Тищенко.

Миша Филиппов, в тельняшке, ловкий, опрятный, закурил и, вытянув ноги вдоль скамейки к печке, заговорил, улыбаясь и глядя в пустоту:

— Прихожу на вокзал в городе Великие Луки, подхожу к кассе, спрашиваю билет до Усть-Илима. «Куда?» — «До Усть-Илима». Шарилась она, ребята, в своих справочниках минут десять. «Нет, — говорит, — такой станции. Братск, — говорит, — есть, Усть-Илима нет». — «Ну, ничего, — говорю, — девушка, как-нибудь доберусь». Три года прошло, и вот вроде бы недалеко осталось...

Они стали стелить постели, а Тищенко пошел за дровами.

— Как теперь Тищенко? — спросил я Юдина.

— Парень он, может, хороший, — ответил он, — но здесь этого маловато...

И они стали ложиться. Тищенко вошел с дровами.

— Ложись, — сказал бригадир, веселый, стремительный волжанин.

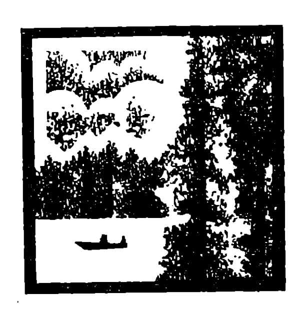
— Нет, — сказал Тищенко, — я не лягу. Я буду топить всю ночь. Я сломал будку — буду топить... Я этот пень объехать хотел...

— Ну тебя к черту! — серьезно сказал Гоша Погодаев. — Уже ты надоел.

Задули коптилку и уснули колумбы тайги, побывавшие на Чукотке, в Тикси, на Лене, в Якутии — нет в Сибири места, где они не бывали, а вы будете там уже после них.

Утром у Тищенко с бульдозера сняли нож и отправили его из тайги.

Я уехал с машиной, доставившей в мехколонну горючее. День оказался солнечным, дорогой вроде трясло меньше, чем вчера, мелькали за окном сосны — гитарные струны. Один раз мы остановились, чтобы убрать с дороги кедр, по которому переехал трактор.



ГОЛУБЫЕ ТЕНИ ОБЛАКОВ

Мы сидим на лайнице, осклизлой и темной от давности доске, с которой здешние бабы полощут белье. Нагретая июнем илимская вода проносит мимо нас запахи горящего где-то смолья, ноздреватого хлеба, который, видимо, пекут в деревне Игнатьевской.

Река делает петлю вокруг того места, где давно еще утвердился Нижне-Илимск. Янтарные волны, не торопясь, намыли в узком месте петли очень лиричные плесы, и мы видим, как на песке балуются пацанята.

Солнце вдруг специально для нас выхватывает из леса далекую опушку, одинокую и зеленую, на самом краю обрыва. На ней бы хорошо было выспаться, сморившись от тяжелой работы, или прийти туда суматошной компанией в субботу.

Мы хорошо понимаем, что еще не однажды вспомним эту речку, опушку, теплый холодок Илима на ступнях ног. И даже будем тосковать об этом дне, потому

Очерк написан в соавторстве с В. Шугаевым.

что он никогда не повторится и в нем поселятся воспоминания.

И мы начинаем тревожиться неясно и радостно. Пристаем к ветхому деду в солдатской гимнастерке, рыбачившему по соседству.

— Дед, а дед, у тебя какая фамилия?

Дед подозрительно щурится и молчит.

— Да ты не бойся, дед. Мы хотим запомнить тебя.

— А к лешему меня запоминать, ребятки. Стар я, да со старика что возьмешь...

И он еще что-то бормочет про себя или про нас. И когда мы уже совсем было пошли, дед говорит:

— Ох, и рыбнадзор нынче строгущий стал. Того и гляди...

Он печально смотрит на нас львиными, пустыми глазами, соображает:

— Дак, немудрено. Два мотора «Москва» на лодке-то...

— У кого?

— Да у рыбнадзора.

Дед снова что-то бормочет и отворачивается, чтобы с удовольствием посокрушаться в одиночку о строгости рыбнадзора.

А мы идем к Николаю Ивановичу Хомякову, этому самому рыбнадзору, и предвкушаем услышать от него всякие истории о браконьерах, в которых обязательно есть и туманы в рассветном тальнике, и глухая резвость играющей рыбы, и колоритные, здоровенные дяди, со звериной хитростью и жестокостью пытающиеся обмануть, и два всесильных мотора «Москва», и Николай Иванович, неутомимый защитник водной живности от верховий Илима до низовий Ангары.

Но Хомякова мы не застали, потому что возле Нево-

на браконьеры глушили рыбу и Николай Иванович улетел на место преступления. Потом мы многих спрашивали о Хомякове: и в Кеуле, и в Тушаме, и в Невоне. Нелестность отзывов убеждала, что у рыбы, кочующей по Илиму и Ангаре, есть справедливый, не знающий усталости друг...

Смущенные яркой грустью июньского дня и его кратковременностью и чтобы не остаться в долгу перед будущими воспоминаниями, мы ходим и спрашиваем. Говорили с Колесниковым, директором здешнего зверокоопромхоза. Завтра уходит обоз на Катангу, по вьючной тропке к Илимской конторе пойдут на долгие месяцы в тайгу Ваня Русанов, Вася Непомнящих и Федя Брылев. На заимках поягодничают до морозов, а там уж и за настоящее дело. Агафья еще с ребятами пойдет, жена Степана Прокопьева, ждущая его там, в конторе. Земляничные поляны, горелые пни, брусничник около тихого ключа, глянцевитый жар от лошадей, сладкий сон на ночевках-станках, роса на смазанных дегтем сапогах, веселые кольца собачьих хвостов и охотничье одиночество, наполненное светлыми мыслями о красоте земли,— все эти воображения радостью обожгли сознание. А тут еще Николай Шалаев, конюх в красной ковбойке, с корнями вен на больших руках, рассказывает:

— Я-то бывший черемховский. Всамделишную тайгу не знал в свое время. И в первый же раз, как повел обоз, попал в историю. Возвращаюсь, значит, с конторы. Сам на Пирате впереди, остальные лошадки сзади постукивают. А был со мной еще щенок-кобелечек. Дурачок, совсем еще дурачок. И вот, значит, к речушке к одной спускаюсь, а Пират мой как вкопанный останавливается. И кобелечек все к лошадям жмется. Я давай Пирата настегивать, а он зубы на меня скалит. Вот незадача. А по-

том присмотрелся — мать честная. На бережку, как четыре копны, четыре медведя сидят и меня разглядывают. Я съежился, ружьишко тогда плохонькое было да и медведей, кроме как на картинках, не видел. Думаю, что сейчас седеть начну. А кобелечек мой нахальства набрался да давай на этих носорогов лаять. Еще побежал к ним, да они так на него цыкнули, что он без памяти обратно ко мне. Медведи немного посидели и подались потихоньку восвояси. А я галопом верст семь нажимал. Как только лошадок не повредил — все удивляюсь...

Спасибо, конюх Николай Шалаев, спасибо, директор Колесников, за еще одну пахучую, солнечную дольку прекрасного, из которых слагаются дни и из которых мы составляем наши лучшие воспоминания.

...Потом мы плыли по Илиму. Из-за швартовой планки катера нас все время обкатывали холодные ветреные брызги.

Моторист, капитан и электросварщик Петя Куклин что-то громко кричит нам, но дизель раздражающе громок, и поэтому ничего не слышно. Беззвучно смеется Юра Слободчиков, кладовщик из «Речтранса». Он плывет с нами, чтобы встретить теплоход «Лермонтов» и поискать там безбилетников. Правда, на трассе Нижне-Илимск — Илим их не попадается, но форма!

У Юры доброе, как солнце, лицо, он могуч и проживет, наверное, сто лет. Мы все хотели спросить его, чего это он завяз на складе при таких-то плечах и щеках! Но опять мешал дизель.

А на угоре, в соснах, странная деревушка. Молчаливая и грустная, как одинокая женщина. Петя говорит, сбросив обороты, что из деревушки люди перебрались поближе к крупным селам, поближе к колхозам.

Мы молча поднимаемся на угор, идем по заросшим подорожником улицам, заглядываем в пустые глазницы окон. Немного неуютно. Резко пахнут цветы низкого незнакомого кустарника.

И все-таки даже в печальной заброшенной деревушке можно рассмеяться. Нам днем еще рассказывали о Кирьяне Павловиче Воробьеве. Он, последний житель Симахино, прослышал, что односельчане переехали в большой город. Дед Кирьян надел новую рубаху, смазал не жалеючи сапоги и решил поискать бывших соседей в Москве. И прямо у вокзала ошеломил прохожего вопросом:

— А где тут наши симахинские живут?

Вообще-то дед Кирьян фантазер. В войну он был сапером, но перед сельчанами ему нравилось быть летчиком. Он говорил так:

— Лечу это я над своей деревней, вижу — баба моя белье полощет. Хотел приземлиться, поговорить про жизнь, но правительство не разрешило садиться. Так и пролетел дальше.

Эх, дед Кирьян! Послушать бы твои россказни в такой вечер, похохотать, прослезиться от махорочного дыма, а потом потихоньку бы пойти босиком по теплой пыли деревенских дорог...

На другую сторону нас перевозили Вовка и Гришка, два припоздавших рыбака с посиневшими коленками. И лодка с плоскими бортами напоминала пирогу, и дальняя луна была у самого ее носа, и от стареньких рубашек Вовки и Гришки пахло парным молоком, рыбой, сном.

— До свидания, Вовка и Гришка!

До свидания, белый июньский день!

В Кеуль — две дороги. Одна гладкая, холодная, мо-

щенная золотом и серебром, эпически широкая дорога сквозь тайгу. Темные, тяжелые сопки громоздятся по обеим ее сторонам, мелькают веселые острова с березами, раскидистыми, как дубы, осинками, стройными, как танцовщицы. Дорога эта — Ангара.

Другая — прямая, необъятная и непроходимая, когда ветер и дождь. Маленькие здешние самолеты летают только в отличную погоду.

Третьей дороги в Кеуль нет.

Наш «Антон» приземлился прямо за огородами, по лужайке подрулил к новому домику, взревел, замер — и мы прыгнули на траву. Нам быстро объяснили, что домик, обшитый свежим тесом, — аэропорт, а улочка, тайгой прижатая к реке Кеуль, — старое кержацкое село.

Что ж, здравствуй, Кеуль! Будем знакомы! Ты хорош уже тем, что мы с тобой никогда не виделись.

Здравствуй, Кеуль! Нет, положительно ты хорош. Крепки серые вековые твои дворы, румяны новые твои срубы, затейливы резные наличники на твоих окнах, что уставились на мир с наивным, святым удивлением.

На улице возилась ребятня, и ласковые, томные от жары собаки рассиживали у ворот на шикарных своих хвостах.

Мы кое-как выяснили, что все взрослое население на том берегу Ангары огораживает загон для колхозного стада. Дома почему-то оказались здоровенный колхозник Гаврила Анкудинов и его сын Володя, охотник. Нам где-то надо было устроиться. Анкудиновы посоветовали пойти к бабке Наталье, тоже Анкудиновой, но в родне с Гаврилой и его сыном не состоящей.

К бабке повел нас Володя, красивый парень, разговорчивый, ловкий, с победительной бесконечной усмешечкой на губах.

— Возьми постояльцев, — сказал бабке Володя, — серьезные люди.

Бабка, скособенясь, снизу вверх взглянула на нас быстро-быстро. Бабка сказала:

— Кто их знает... Серьезные или какие. Никто не знает. Не беру я постояльцев. Брала, а больше не беру.

Володя снисходительно (к бабке, к нам, к целому миру) стал объяснять ей, что мы не жулики. Она минуту не соглашалась, потом отвернулась от нас, пошла на кухню и на ходу выронила.

— Оставайтесь. Куда пойдете? Все на городьбе.

Володя усмехнулся и ушел, мы стали приставать к бабке с расспросами, она отвечала охотно и обстоятельно. Ей восемьдесят три года, у нее три дочери, они вместе с детьми живут по разным местам — в Тушаме, в Ангарске, одна живет здесь, в Кеуле, но другим домом и заходит редко. Бабка живет одна и хозяйничает одна. Всю жизнь прожила в этом доме, всю жизнь занималась скотом, огородом и рыбалкой. Сети ставит с детства и по сей день ставит. У нее своя лодка и полный амбар снастей.

— Как же ты одна со всем управляешься? Не трудно тебе?

— Так и маюсь, — просто, не жалуясь, ответила она. — Живу и маюсь, — сказала она с удовольствием.

Немного погодя выяснилось, что у бабки Натальи уже живет постоялец — рабочий из геологической партии, которая вся квартирует в Кеуле и тут же, по берегам, ищет уголь и бокситы.

Оказалось, что Вася Сизых, бабкин постоялец, в этот день уволился и уезжает в Кежму — туда, откуда приехал месяц назад. За свои двадцать пять лет он объездил чуть ли не весь Красноярский край, бывал и в дру-

гих местах, по леспромхозам, у геологов, у плотников — нигде ему не нравилось, нигде не сиделось.

Он вошел в избу, высокий, с огромным кудрявым чубом, в темно-синем плаще до пят, поздоровался и тут же спросил, не уезжаем ли мы в Кежму: он искал попутную лодку. Мы ответили, что только что приехали, и он мгновенно потерял к нам всякий интерес. Он сел за стол у окна, положил на руки небритый, сверкающий, как мокрая трава, рыжий подбородок и, выпучив глаза, закручинился тупо и беспробудно.

— Уезжаешь?

Он не ответил.

— Что тебе здесь не понравилось?

— Погнался, дурак, за длинным рублем, — заговорил Вася покаянно.

— Ну, а здесь какой рубль оказался?

— Ну его к черту, Кеуль этот! — закричал вдруг Вася с воодушевлением.

— Куда же ты сейчас?

— В Кежму! — сказал он полувосторженно.

— Тебе и в Кежме будет худо, — сказала ему строго бабка Наталья, — в Кеуль захочется.

Вася взглянул на нее испуганно.

— Ну! Придумала ворона! — сказал он, но моментом успокоился и уже мечтательно произнес: — В Кежме лучше.

К вечеру мы узнали о Кеуле уже многое.

На тот берег упало малиновое покрывало заката, вода в реке потемнела, далеко моторки запели, как туча комаров, — пришел вечер, раздумчивый и спокойный, как старость бабки Натальи. Моторками через полчаса был усеян весь берег. Лодки здесь в каждом доме. В лодках здесь ездят больше, чем ходят пешком.

Скромные колхозные угодья: немного пашни, покосы, загоны для скота — все это находится по берегам и на островах. Сегодня колхозники огораживали узкую полоску вдоль того берега. Туда за четыре километра привезут коров, и они будут жить там, пока не съедят всю траву. На дойку будут ездить из села, через реку. Пастбище огораживают, чтобы коровы не разбрелись,— медведь ходит здесь всюду.

В зените лета ночи здесь незаметные, вовсе не темнеет. Почему-то не спалось, да еще рядом с бабкиной избой, у магазина, девки собрались в очередь за дешевыми туфлями. «В жизни раз бывает восемнадцать лет»,— выли девки. На сундуке храпел Вася, кудрявый дезертир. Попутной лодки он так и не нашел.

Утром нас разбудил бригадир криком в соседское окно:

— За реку! На городьбу!

Утро вдруг оказалось пасмурным, нудил едва заметный дождь. Бабка зажарила нам тайменя, выдала кринку молока и подалась по хозяйству.

По меже, по бабкиному огороду мы спустились к серой скучной реке, там была уже вся деревня. На берегу мы познакомились с Георгием Сусловым, начальником геологической партии. Георгий молод, но суров и серьезен не в меру и, видно, мужик толковый. Он взял нас в свою лодку, и мы поехали за Ангару, к рабочим-геологам, что бьют на том берегу шурфы.

Парни живут в палатке у самой воды, их трое — Илья Антонов, Толя Матюшков, Юра Миронов. В деревне часто бывать не приходится, они свыклись с пещерной своей жизнью, на вещи смотрят с трезвым оптимизмом, шутят непрерывно, напропалую. Это им необходимо в первобытной их жизни.

Мы навалились на них со своими извечными вопросами, пошли смотреть шурфы, потом курили у костра. День разгуливался, с запада поперли белоснежные, непорочные облака. В лесу какая-то птаха твердила одно и то же — что-то бесхитростно-меланхолическое.

— Когда она спит? — сказал Толя. — Вот всю ночь так и весь день, без обеденного перерыва. На прогрессивку.

И тут, раздвинув тяжелую портьеру тальника, к костру вышла Валя. Валя Карнаухова, коллектор. Она возвращалась от дальних шурфов, спортивные брюки и плащ на ней наполовину вымокли. Она раскраснелась — быстро шла, и глаза ее блестели восторженно. Рослая, стройная, амазонка! Валя закончила десятилетку и осталась в Кеуле, в своем селе, в своей тайге...

Уезжали мы на лодке, был пышный июньский день, голубые тени шли по Ангаре плавучими островами.

Село удалялось от нас, кивая нам старой деревянной церквушкой на горе, белой фермой, трепещущей лентой горной речки. Село удалялось, становилось воспоминанием надолго, а может быть, навсегда.

И вот исчез за зеленой сопкой Кеуль — столица задумчивости и белоснежных облаков.

Путь наш был на Усть-Илим.

Электрик Костя говорил о любви. Он говорил о ней со вкусом и с большим воображением. Не так давно, по нечаянности, Костя лишился трех передних зубов и поэтому немного шепелявил. Это в известной мере портило его лирический рассказ, но палатка слушала, затаив дыхание.

— Как получается в действительности, ребята. Я одинок, как телеграфный столб, и, естественно, мечтаю о нежных женских руках. Пусть они будут даже без маникюра. И вот сегодня из соседнего селения я привожу в палаточный городок девушку. Это очень симпатичная девушка, в красивой красной юбке и белой-белой кофточке. Я привожу ее на мотоцикле и всю дорогу чувствую затылком облако ее дыхания. Плавлюсь от нежности и хочу что-нибудь сказать запоминающееся, хочу понравиться. Но молчу. Ибо знаю, что в красном уголке она будет танцевать не со мной. Видите, какой у меня длинный нос? Из-за него придется весь век прожить холостяком, потому что я не представляю, как бы меня целовала существующая в мечтах жена. Мне грустно. И я отвезу обратно в соседнее селение после танцев симпатичную девушку. И опять буду молчать...

Палатка от некоторых ярких деталей Костиного рассказа погромыхивала легким хохотком, но в общем-то в палатке хозяйничала вечерняя грусть. Опиумная сладость ее закрывала парням глаза, непонятной и острой тоской сжимала сердце.

А по улицам далеких городов шли веселые и прекрасные девушки, вернее, какая-то одна, рожденная одиночеством, а потому самая прекрасная Девушка, ее следы оставались на неверном песке пляжей, терялись на одиноких тропинках черемуховых рощ.

А в красном уголке — музыка. Счастливцы из мужского монастыря «Палаточный городок» танцуют современные танцы с принцессами и королевами: с продавщицей из магазина, с хрупкой девочкой из бухгалтерии участка и еще с несколькими инфантами из местной столовой.

У всех у этих «титулованных» особ есть уже свои

короли и принцы, потому остальное население монастыря мрачно возлежит в брезентовых кельях или, отрешившись от собственного «я», счастливо глазеет на современные танцы.

Легче семейным. Около их палаток дымят очаги, плачут и смеются ребятишки. На девственной земле Усть-Илима возделаны огороды с луком и редиской, а последней и возвышающей деталью этой идилии являются жены. Жены бульдозеристов, трактористов и плотников. Их простоволосые и в платочках головы, молодые лица, обожженные солнцем и жаром очагов, напоминают о вечности и обыкновенной красоте земли.

Легко еще вечерами диабазовому великану — Толстому мысу: он многие века захлебывается от прозрачной любви Ангары.

Одиночество и тоска по нежности уходят вместе с ночью, растекаются по низинам зыбкими полосами тумана. Днем главная любовь — трасса. Непокорную, неверную, невероятно упрямую — ее нельзя не любить.

Обернувшись комариной злобой, непроходимым болотом, фантастическим буреломом, трасса всегда проверяет, насколько глубока и верна любовь к ней.

О, трасса может быть спокойной! Доказательством верности ей — янтарные мозоли на руках парней, губы, пахнущие ветром и жаркие от нераздельной любви, спины, глянцевеющие от силы и пота, наконец, одиночество — эта тяжелая дань за право быть первым.

Но вечерами люди думают о земной любви, оставшейся в зеленых городах и синих деревнях. Думает Толя Яковлев, прошедший одиночество многих таежных кочевок, веселый острослов и затейник, вечерняя грусть сильнее могучей воли Вани Тюрина — она отрывает его от учебников, по которым Ваня второй раз собирается

поступить в институт, придумывает будущую любовь Толик Корнейчук, еще по-мальчишески румяный и вспыльчивый.

Усть-Илим жаждет любви. Жаждет нежности.

Мужество там прописано.

Командировка кончалась, времени, как всегда, казалось, не хватает, в последний вечер мы гонялись по палаточному городку за героями наших будущих очерков. Мы жаждали подробностей, уточнений, дополнительных сведений.

— Я забыл тебя спросить, Миша, где и как ты познакомился со своей женой?

Миша, конечно, отвечал:

— А это еще зачем?

И тогда начинались разные уловки, уговоры, хитрости, начиналась потная охота за сюжетом, погоня за откровениями сквозь дебри психологии... Иногда, чтобы что-нибудь узнать о Мише, приходится много рассказывать про себя.

Мы устали в этот душный вечер.

Грустно скользнув по воде бледно-оранжевым шлейфом, закат утонул в Ангаре, за палатками тайга застыла сплошной черной стеной, прогромыхал мотоцикл — грустный комик Костя увез в Невон свою любимую, которая весь вечер танцевала с другим, заныла, запричитала чья-то гитара, а мы уснули, сунув под подушки свои драгоценные блокноты. Но блокноты наши никому не нужны в этой усталой палаточной Севилье...

В прошедшую ночь в Невонском аэропорту ночевало семь пассажиров. Утром все они сидели в небольшой комнатке, молчаливые и нелюбезные от нетерпения. На-

чальник аэропорта, маленький, не по летам быстрый и верткий человек (из местных, невонских), вошел и объявил, наконец, что будет «Антон» — улетят все вчерашние пассажиры и два новых. Мы бросились за билетами. Напрасно. Начальник сказал, что полетим не мы, а только что подошедшие из Невона муж, жена и ребенок. У ребенка, сказал нам начальник, корь, у родителей — аппендицит.

— У него аппендицит?

— У него, — ответил начальник.

— И у ней?

— И у ней.

Мы, конечно, не возражали. Хотя были несколько удивлены таким дружным натиском недугов на такую румяную семью.

«Антон» улетел. В аэропорт на попутном ЗИЛе приехали ребята с трассы и палаточного городка. Им надо было лететь в Братск на слет ударников коммунистического труда. Среди них наши знакомые — Ваня Тюрин и Александр Иванович Нестеренко — лесорубы, бригадир плотников Иннокентий Перетолчин, зав. складом Аня Ступак.

Утро было отличное, но к обеду стало душно, воздух остановился, свежесть от реки не доходила до нас, комары озверели, через полчаса ударила гроза. Мы узнали, что аэропорт работает до десяти вечера, и еще надеялись улететь.

В тот день мы не улетели. Можно и не продолжать эти дорожные жалобы, но в Невонском порту мы попали в историю, настолько распространенную на наших дорогах, что ее хочется рассказать.

Шел дождь, и из Нижне-Илимского аэропорта нашему начальнику пришло разрешение закончить на сего-

дня работу. Начальник выдал нам раскладушки, быстро собрался и уехал на рыбалку. В аэропорту осталась диспетчер, молодая женщина, которая жила за стеной с маленькой дочкой.

А через полчаса кончился дождь, трава мгновенно высохла, стало безоблачно, было четыре часа дня — самолеты могли ходить. Снова появилась надежда улететь, и мы постучали к диспетчеру. Мы просили связаться с Нижне-Илимском — авось оттуда придет «Антон» и тогда улетим мы и улетят делегаты, которые рискуют опоздать на свой слет.

Диспетчер, ее зовут Лида, выслушала нас молча, с большим участием. За день мы успели познакомиться. Лида казалась нам (да она такая и есть) очень чутким, внимательным к людям человеком.

— Только позвонить, — просили мы застенчиво, — пусть нам откажут, разрешите нам успокоиться.

И тут добрая, чуткая женщина Лида произнесла эту грубую, тяжелую, как диабаз, фразу:

— Не положено.

Мы затихли. Мы по опыту знали, что в таком случае надо притихнуть и как ни в чем не бывало почитать газету. Надо экономить нервы, время — мы это знали. Ни в коем случае нельзя задавать вопросов.

Но в наших мыслях шевелился еще легкомысленный оптимизм. И мы заговорили. Осторожно, даже робко:

— Но ведь это ваша работа. У вас есть ключи от диспетчерской и вы отлично владеете рацией. Почему же нельзя?

— Не положено, — отрезала Лида и снова перестала походить на саму себя. — Без разрешения начальника — не положено.

Дальше разговор пошел обыкновенный. Мы убеж-

дали, просили, приводили примеры, спрашивали, что бы стала делать Лида, если бы случилось какое-нибудь ужасное происшествие и срочно понадобился бы самолет и т. д. и т. п. Мы были красноречивы и убедительны. «Человек человеку, — говорили мы, — друг, товарищ и брат». Мы говорили. А Лиде не надо было говорить. У нее было одно неотразимое, неподвижное, как стена, слово: «не положено».

— Я вас понимаю, — сказала она, когда, изможденные и онемевшие, мы попадали рядом со своими рюкзаками, — я очень хочу вам помочь. Но — не положено.

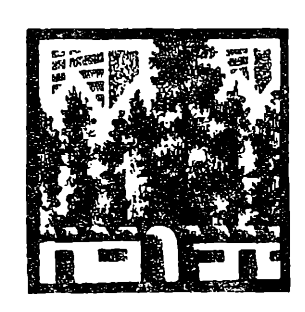
Погода была прекрасная.

На следующее утро пришел «Антон».

Последнее видение Усть-Илима: серые кубики палаточного городка, богатырская гранитная грудь Толстого мыса, «Три лосенка» — три острова перед створом будущей плотины и во все горизонты — зеленый океан.

Снова был Нижне-Илимск — пыльная столица рыбаков и охотников, был день — жаркий нежный выдох всесильного лета, была дорожная томительная суета, звенела розовая натянутая струна возвращения...

Вечером того же дня в Иркутском аэропорту мы приняли парад элегантных городских тополей.



БЕЛЫЕ ГОРОДА

Парням стучит третий десяток, а что они видели? Жизнь у них вышла такая, что, кроме Братска, они ни в одном городе не бывали.

Хорошо родиться где-нибудь в Мелитополе, в безмятежном южном городке, провести детство в яблонях и полусне, коллекционировать марки, презирать девчонок, учиться играть на кларнете, стать пловцом-разрядником. Хорошо быть смешным и легкомысленным, в белом городе шататься с друзьями по улицам, бесцельно и беспечально, провалиться на экзаменах, побродить по другим городам, поссориться с приятелями, влюбиться, помрачнеть, задуматься, послать все к черту и вдруг уехать в Сибирь, на стройку. Хорошо ехать в Сибирь бывшим футболистом, ценителем сухих вин, остряком и сердцеедом. Из окна вагона смотреть на живописный осенний тлен и думать свою думу. Угодать в темную глухариную тайгу, в суровые морозы, к суровому бригадиру, выстоять, перековаться и зажить по-новому. Не жизнь, а роман!

Совсем другое дело, если ты родился в Сибири, вырос в Сибири, работаешь в Сибири. Да все это в одном

и том же районе. И только когда тебе пошел третий десяток, ты переехал в другое место. Это совсем иное дело.

Не бывали парни в городах, не было у них дальних дорог и крупных разочарований. Но их юность, полная удивления и беспокойства, заслуживает очерка, повести или даже романа, как юность всех тех, кто строит города и дороги. Они видели главное и поняли главное, не затрачивая на это времени и километров.

Леня Дорофеев и Гоша Садовников никогда уже не наведаются в родное село. Не пройдут за огородом, где пацанами таскали огурцы, не распахнут, облаянные забывшими их собаками, знакомых калиток, не сядут на старое зашарканное крыльцо. Их детство осталось на дне моря...

В сорока километрах от Братска вверх по Ангаре было такое село — Наратай. На острове, наполовину заросшем сосняком, десятка три дворов, начальная школа да магазинчик. Все это давно перевезли на новое место, в Калтук, вверх по Оке. Над островом сомкнулись зеленые волны Братского моря. Но Леня Дорофеев помнит каждую жердь в гнилых заплотах Наратая.

В селе жили рыбалкой, охотой, немного сеяли, держали коров. Берега, левый и правый, были непролазной тайгой; студеные ангарские туманы пеленали этот остров, глухой и беспомощный; в грозу и метели здесь жить было страшно; самолет над селом пугал старух, был таинственным видением другого мира. В селе все куда-то собирались уезжать, вдовы сходились на Марихином дворе, выли песни, мужики вечерами сидели на крыльце магазина, судачили, иногда плясали «подгор-

ную» по единственной улице — туда и обратно. Первый радиоприемник появился в сорок восьмом году вместе с первым учителем. Братск тогда еще не был Братском, а от Заярска приезжали только на лодках работники сельпо да один-два браконьера.

Но, как сказки, рассказанные нам в детстве, никогда не будет забыт Наратай. От него навсегда остался запах пыли и молока за прошедшим по улице стадом, восторженная тишина летних вечеров, черные головы подсолнухов на вызолоченном закате, сугробы, блестящие от просыпанных в них звезд, осенью — багровая агония осин на левом берегу.

Леня и Гоша — давние друзья. Как-то осенью ребята навострились за брусникой, а Гоша должен был сидеть дома и ждать, пока мать вернется с картошки и даст надеть ему чирки. Приятели подождали-подождали, да подались. Друг появился в минуту нестерпимой обиды. Леня Дорофеев вернулся и отважно просидел с Гошей до самого вечера. После они выручали друг друга не раз, но это само собой, как продолжение того дня, что в детстве они провели в ожидании чирков.

Пацаны посещали школу, причем учились хорошо — все, что рассказывал учитель, было удивительно. После уроков играли в лапту мячом из трута — губчатых наростов на березовых пнях. Таким мячом больно ушибали спины и разбивали носы.

Время отыскало этот забытый богом угол. Под ухом у оглохшей деревни время рявкнуло взрывами строительства дороги Тайшет — Лена, на правом берегу Ангары появились люди с кирками, от первых взрывов в Наратае задрожали стекла.

Старухи затосковали, старики подозрительно переглядывались, бывшие фронтовики сели в лодки и погребли к правому берегу. Дорога строилась прямо вдоль Ангары в шестистах метрах от Наратая. Пацаны стали сбегать с уроков, угоняли лодки, бродили по свежим путям, вдыхали запах шпал — излюбленный запах бродяг и неудачников. Дорога еще строилась, а уже замышлялись побеги и путешествия.

Приход в эти края новейшей истории был провозглашен гудком первой маневрушки летом сорок девятого года. Одновременно ее голос прозвучал призывным горном для Лени Дорофеева, который как раз в это время гнал домой корову. Корова удивилась, подумала и откликнулась густым баритональным мычанием.

Дорога Тайшет — Лена была лишь началом больших строительных эпопей.

В новейшей истории Наратаю отводилась роль Помпеи, разумеется, без жертв и неожиданностей. Заговорили о Братске, о невиданной стройке, что вот-вот должна грянуть у Падуна. Из Заярска приехал продавец и рассказал, что на Ангаре появились уполномоченные, что соображают, куда и как переносить деревню. При упоминании об уполномоченных, которых здесь никто не видел с сорок первого года, старые наратайские браконьеры тонко усмехались. Все больше говорили о затоплении. Половина Наратая в затопление не верила. А старик Василий Федорович Дорофеев совсем расстроился.

— С ума народ сошел! Взбесился! На Ангаре пруд прудить! — и сердито хохотал.

Старик сцепился с первым же уполномоченным.

— Я век здесь изжил, — говорил он, — знаю, какие

наводнения бывают. Не поеду, даже не говорите. Никуда не поеду!

Ах, дед, дед! И через пять лет на новом месте, в Калтуке, ты бормотал грустное и смешное:

— Я вот зиму перезимую и домой поеду. Не будет там никакой воды — помяните мое слово.

И даже когда вода поднялась в Оке, у Калтука, не видевши Братска, он ничего не понял. Он стоял на берегу, скрестив руки, величественный и неправдоподобный, как морской царь Нептун.

— Спадет. На горах лед размыло...

Братск вытеснил мальчишечьи мысли о побеге. Кто видел Братск, тот не захочет суетиться по вокзалам. У Падуна Леня и Гоша встретили бывших жителей всех городов, которыми грезили в детстве. Но они не успели к Падуну. У Падуна Ангара уже двигала турбины. У Ярмоша, начальника отдела кадров, они просились на Усть-Илим.

— Там нет жилья. Нужны плотники.

Кто же еще плотники, если не они, уроженцы несуществующего села Наратай?

— Будете жить в палатках, предупреждаю.

На Усть-Илим они успели.

На стройке их зовут бурундуками. В Братске, в Коршунихе, в Чуне, на ЛЭП и здесь, на Усть-Илиме,— всюду местных, сибирских, зовут бурундуками. С первого взгляда это прозвище кажется несколько оскорбительным, но только с первого взгляда. Обижаться не следует. Будешь обижаться — назовут еще как-нибудь.

— Бурундук — приятный зверь, красивый, а что? —

рассуждает Иосиф Кирсанов, вальщик. — Ничего нехорошего я про него не слышал.

Мы сидим на нарах в подслеповатой будке. В открытую дверь видна трасса — шестидесятиметровая просека. На ней медные, как купальщики, лежат рядами сосновые стволы. Если пройти по просеке пять километров — выйдешь к Толстому мысу. По тайге, исписанной бульдозерами, по гладкому, нарядно отполированному диабазу дойдешь до створа будущей плотины. Створ узнаешь по черному пятну штольни у осин на правом берегу. Прямо перед тобой будет остров, высокий и стройный, как теплоход, и серебряная щетка шиверы. Толстый мыс величественнее Пурсея: под мощными соснами богатырская гранитная грудь и легкая, как ветер, трава среди камней у воды.

Трассу на Братск ведут от Толстого мыса пять бригад лесорубов, среди них бригада Утина, где работают Гоша Садовников и Леня Дорофеев, бурундуки. Мы сидим в темной будке в короткие послеобеденные минуты, курим и разглагольствуем. Здесь бригадир, властный и шумный Саша Утин, братья Кирсановы и вальщик из бригады Васиченко Эрик Данило. Он шел к своим на Мирюнду, завернул воды напиться. Эрик рассказывает о себе, о своих причудливо длинных дорогах. Прежде чем попасть на Усть-Илим, он побывал на Алтае, в Белоруссии, на Лене, на Байкале — где он только не был!

— Что же ты искал? — спрашивает Эрика Гоша Садовников.

— Смотрел, как живут люди.

— Ну и как они живут?

— Люди везде живут одинаково, — сказал Эрик, — это надо понять.

— А мы, — сказал Леня Дорофеев, — не были даже в Тайшете.

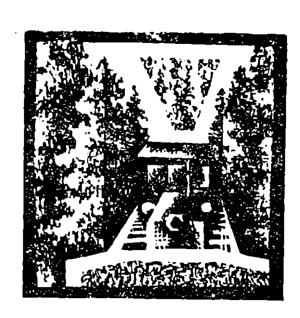
— Серьезно? — спросил Утин, а все молчали. Сытый комар медленно поднялся с руки Иосифа и тупо прожужжал в дверь.

— Побываете еще.

— Побываем, — сказал Леня.

— В Крым надо ехать, — сказал Данило, — в отпуск. Города там белые, мошки никакой.

Разговор этот происходил в тайге у Толстого мыса, где будет город, и белые улицы, и сады, где сейчас нет ничего, кроме палаточного городка, и где глухарей бьют с крыльца будки, в которой спят и обедают.



ВЕЧЕР

Вечером Миша Ковча, двадцатилетний плотник, сел за стол, чтобы написать письмо отцу в село Городжив далекой Львовской области. В палатке рядом с раскаленной печкой жарко, а по углам холодно, окошки обледенели, на койках два парня спят в бушлатах.

В Усть-Илим отец прислал сыну первое письмо. А те, другие, он присылал в Братск, а еще раньше — на целину.

Отец интересовался: «Пишу, сын, до тебя письмо, в котором хочу спросить. Куда ты едешь? Чего гоняешь по земле? Чего ищешь?»

«Добрый день, тата, сестренка Надя и Катерина Алексеевна. Живу хорошо, работа идет хорошо, новостей никаких нет...»

Ручка выскальзывала из его желтых пальцев, бесчувственных от работы и морозов.

Вошел Толя, шофер, хлопнул рукавицами, разулся. Миша его не заметил. Шофер пристроил валенки на шест у печки, снял со стены гитару и развалился на своей койке.

Шофер бренчал, трещали в печке дрова, Миша писал ответ в село Городжив.

«Я работаю в бригаде товарища Притулы. Работа не тяжелая. Палаток здесь больше десяти, а мы строим новый поселок и баню строим.

Живем мы в палатке семнадцать человек. Время проходит хорошо, работаем, пока светло, а вечера проводим весело. Играем в домино, в шахматы. А то рассказываем анекдоты и вообще — кто что знает.

Морозы бывают большие. Товарищ Притула говорит нам:

— Можете сегодня не работать.

Но мы идем, и первым сам товарищ Притула...»

Шофер вдруг ударил по струнам всей пятерней, резко заглушил их и бросил гитару на соседнюю койку. Гитара всхлипнула.

— Жизнь! — сказал шофер и выругался. Миша взглянул на него бессмысленно и перевернул лист.

«В письме, что вы до меня написали, вы спрашиваете, почему я уехал из Братска. А уехал я оттуда потому, что сам попросился. Сюда ехать считается за почет и что повезло. И я так думаю.

Река здесь широкая, на середине острова, и красиво. Когда приехали, ходили на Толстый мыс, где будет строиться ГЭС. Это большая гора, и на ней стоит знамя.

Вы говорите, дома цветут сады, а здесь климат тоже хороший, и тут, может, зацветет.

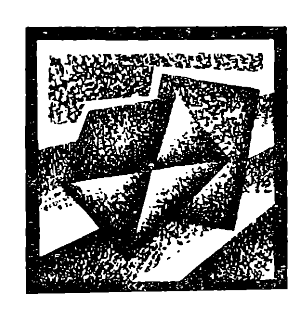
Напишите мне, что вам надо. Мне здесь куплять нечего. Все у меня есть.

Сестренке Наде передайте, пусть она скажет Кате, которая очень весело уехала в Одессу, что я ее забыл. Письмо та Катя мне написать не может, на это у нее ни-

как не хватает времени. Надя, передай, ей, что я ее забыл.

Вот и все. Трудностей пока никаких нет...»

Миша закончил письмо, разделся и лег. Он сразу же уснул, чтобы через семь часов начать новый, полный лишений день — один из труднейших дней начала стройки.



БИЛЕТ НА УСТЬ-ИЛИМ

— Есть много других городов, есть много других женщин, улыбок, деревьев, фонарей. На свете есть много-много другого.

— Мне не надо другого. Мне нужен мой город, моя улица, моя женщина.

— Где все это? Может быть, ты знаешь?

(Из разговора)

Осень первая

Кленовые скрипучие ковры под ногами, остекленевший синий воздух, скучный горький запах костров, что жгут в огородах. Великолукский тихий вокзал, неожиданно, громко стучащие поезда.

— Куда?

Ленинград, Минск, Смоленск, Москва, Москва, Москва...

— Девушка, мне бы билет.

— Куда?

— До Усть-Илима! Это, девушка, в Сибири, на Ангаре.

Девчонка шарится в справочниках. Как карты, веером летят страницы. Такая озабоченная девчонка. Нагадай мне, нагадай!

— Нет такой станции. Братск есть, Усть-Кут есть. Усть-Илима нет.

— Поищи-ка, поищи. Там ГЭС начинают строить. Неужели не слышала?! Темнота. Воспитательная работа у вас отстает.

— Такой станции нет.

— Да не сердись. На нет и суда нет. Как-нибудь доберусь.

Дома:

— Прощай, батя. Еду покорять Сибирь.

— Всю?

— Зачем! Речку там одну запрудить надо. Ангару.

Осень вторая

Дороги на Усть-Илим нет. От Игирмы до Илимска дороги тоже нет. Дикий, как медведь, Семеновский хребет. У будки тлеет осиновый костер.

Какое сегодня число? Второе, а может быть, шестое. Зачем делать дорогу, если по ней никто не ездит? Есть ли еще на земле люди или на земле остались одни медведи? Где-то есть. В Москве, например, на Казанском вокзале.

Мотор! Точно мотор! Чего доброго, проскочит. Ну нет, на этой автостраде мои порядки...

— Здорово, человек!

— Привет! Бульдозер-то с дороги убери.

— Не спеши, парень. Скажи-ка ты мне, какое сегодня число?

— Первое число. Давай дорогу!

— Первое? Не может этого быть! А месяц какой?

— Не дури, дай проехать.

— А какой нынче год, не скажешь?

— Ну тебя к чертовой матери! — обозлился шофер.

— Вылазь, парень. Не пущу я тебя. Пойдем в будку чай пить.

В будке, от скуки прибранной, за дощатым, заставленным консервами столом Миша Филиппов говорил проезжему шоферу:

— Надо же — первое октября 1961 года! Кто бы мог подумать!

Шофер сыто усмехался, рассказывал о Коршунихе, о своем отпуске, который он провел в Заларях, и все, что он знал из текущей политики.

— Чудак ты, парень, — говорил Миша, глядя на шофера ласково, — честное слово, чудак.

Шофер был первый человек, которого Миша видел за полтора месяца, когда он на Семеновском хребте остался один пробивать трассу Игирма — Илимск.

Весна первая

Распорядилась весна, а Нижне-Илимский районный исполнительный комитет подтвердил ее распоряжение. «С 15 апреля проезд через Илим воспрещается» — было напечатано в районной газете. Было и предупреждение: у Макарово провалилась леспромхозовская машина.

В тайге рождались запахи, снег дряхлел на глазах, к вечеру блестела измазанная солнцем река. На 15 апреля у Миши Филиппова, бригадира бульдозеристов, была назначена женитьба. Весна обставила это событие яркими романтическими декорациями: Миша жил на правом

берегу Илима, в Игирме, Галя — его невеста — на левом, в Макарово. Дорога опасная и единственная через Илим, по которой заказал ездить исполком.

Миша две недели не был в Макарово. Там ждали...

У Меледина, директора леспромхоза:

— Дело, Миша, дело. Хватит шататься холостяком. Одобряю, но кто же согласится ехать?

— Перетолчин.

— Согласится?

— Сразу же.

— Потонете...

— Какой же интерес...

— Езжайте, что с вами делать!

— Спасибо.

— Осторожнее, хулиганы!

В Макарово ехали засветло. Третьим ехал сват — бульдозерист Михаил Шустов, хромой, гоношливый, в леспромхозе — первый звонарь. В предвкушении выпивки он был невероятно оживлен, врал и острил напропалую.

— Жениться, — говорил он, — надо ездить на бульдозере. Уважения больше и задний ход хороший.

Доехали без приключений. Миша с силой, радостно распахнул дверь, в избу вкатился Шустов, забормотал пословицы и поговорки, перездоровались. Миша вошел в комнату.

Галя, серьезная, бледная, в белой кофточке, стояла у окна.

— Ну что, — сказал Миша, — выйдем к обществу. Женитьба так женитьба!..

Вот так ночь! Хрустящая, хрупкая апрельская ночь. Праздничные тещины слезы, звезды — свадебные подарки, веселая дорога. В кабине невеста. Жених и пляшущий сват в кузове. В Игирму!

Сват, что ты в жизни понимаешь! Послушай меня. За этой девчонкой я ехал пять тысяч километров. Ровно пять тысяч, понял ты или нет? Откуда я знал, что она здесь. В том-то и дело! Откуда? Но там, куда я не поехал, там ее нет! Понятно это тебе? А-а! Молчи уж ты, пьяница! Что дорога? Хорошая дорога! Отличная дорога! Молчи! Нет здесь никакой дороги. Кто нам ее здесь приготовил? Сами построим. Мы с тобой и построим. И город построим. Сообрази — сами и построим. И поведу я тебя, алкоголика, на бульвар кофе пить. Черный кофе — сообрази! Очень культурно...

Ух, ты! Держись, сват!

Глухой выстрел — в ночь. В кабине вскрикнула невеста.

Под задними колесами треснул лед.

Шофер Петро Перетолчин через пять минут, высунувшись из кабины:

— Было бы смешно, ребята. И свадьба и поминки — заодно.

Весна вторая

На них была вся надежда. В палатках у Толстого мыса их ждали зимовщики, робинзоны, островитяне. На стройку можно было попасть только самолетом. Машины и стройматериалы должны были пройти по этой новой, первой дороге.

Они начали от Эдучанки в феврале. До того, как растает снег, по новой дороге должны были пройти автоколонны.

Итак, Миша Филиппов вышел на финишную прямую. До Усть-Илима было девяносто километров. Девяносто километров тайги, холода, пота.

Шесть бульдозеров с утра до поздней ночи ревели

в илимских чащобах, сосны стонали и падали в белый снег. За ними была уже дорога, по ней уже колотилась машина с горючим, с продуктами. Спали ребята в будке, которую волокли за собой на деревянных санях.

Ночью у Мирюнды. До Толстого мыса двадцать километров. Будка надоела, они сидели у костра, курили, разматывали длинные армейские истории. Искры кружились над ними и превращались в звезды.

Тормошили Толю Рыжбова, вальщика. Что за привычка у парней — скулить там, где надо посочувствовать или, в крайнем случае, помолчать. Толя получил из дома письмо. Он давно не получал писем. От жены. И вот привезли это, написанное мужским почерком: «Писем не пиши, мы поженились и счастливы». В тайге лучше не получать таких писем. А парни:

— Слушай, Толя. Ты этому кенту телеграмму отправь. Поздравительную.

Толя человек веселый. Толя не сердится.

— Рядовой Рыжбов, — говорит он, — остался ни при чем. Что здесь особенного?

К костру по просеке кто-то подходил. Узнали Лешу Юревича, он уезжал за горючим. А еще — кто там? Еще?

— Галка! — Миша поднялся, пошел навстречу. — Точно! Явилась?

— Явилась, — отвечала Мишина жена.

— Почему пешком?

— Машина села. Километров семь отсюда.

Закатили роскошный ужин. Стол был заставлен картошкой, капустой и консервами двух сортов. За ужином Николай Юдин, бригадир, произнес:

— Вот это я понимаю, вся семья Филипповых в сборе.

Галя через два месяца должна была родить.

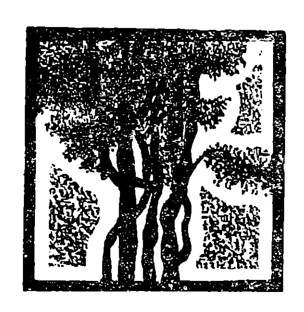
Назавтра она стирала на всю бригаду, готовила обед, ужин, и так две недели, пока они не вышли к Толстому мысу.

Это был знаменитый вечер. Вдруг из своих чащоб они услышали стук пээски, увидели редкие огни, серую равнинность Ангары.

Усть-Илим! Прораб Сопрыкин Олег Викторович обещал шумные восторги и шампанское. Миша въехал в палаточный городок первый. Всей семьей. Вышли ребята, кричали, какой-то чудак палил в воздух из двустволки.

Шампанского не было.

ПРОГУЛКИ ПО КУТУЛИКУ



КАК ТАМ НАШИ АКАЦИИ!

Мимо нашей школы проходит Московский тракт, а дальше за Нижней улицей, за огородами, за лугом — железная дорога. Когда мы отсиживали свои последние уроки, машины по тракту шли реже, а составы на подъеме против больницы ползли медленно, с неровным стуком. Теперь без машины не обходится ни одной минуты, а поезда летят легко между серыми опорами электросети. Прогресс. Технический прогресс.

Акации, которые мы сажали, теперь выросли, шумят между школой и трактом, и дождь смывает с них дорожную пыль. А наша школа, деревянная, двухэтажная, все та же, разве перекрашенная и в который раз отремонтированная.

Июньским утром, после выпускного бала, мы высыпали на улицу как-то вдруг и все разом. Ночью мы выпили, много торжественно курили, танцевали, и подрались, и признались в любви, и прохвастались, кто, куда и зачем уезжает — и вдруг, конечно, уж по какому-то сигналу, — все вышли на улицу. Солнце еще не взошло, на

лугу за Нижней улицей белел туман, мимо школы по тракту старик Камашин, угрюмый пастух, гнал свое стадо. И мы, сонные, куражливые, в белых рубахах, в новых шевиотовых костюмчиках, оказались вдруг посреди стада. Коровы стали разбредаться. Камашин защелкал кнутом; нас это происшествие рассмешило, сонливость, помню, прошла, мы погуляли по улице, потом разошлись, а через месяц-другой разъехались, и многие из нас никогда уже не возвращались в село под названием Кутулик.

Мы не сбежали, не дезертировали. Просто все десять лет, пока мы учились в школе, мы собирались уехать из нашего поселка. К этому готовили нас история и география, физика и литература. Физика манила нас в города, география подбивала на бродяжничество, литература, как полагается, звала к подвигам. Подвигов мы не совершили, но, кому удалось, побродяжили, служили в армии, учились в институтах, стали строителями, учителями, пилотами, буровыми мастерами, офицерами. Мы работали, переженились, росли на производстве, проштрафились, остепенились, повысили квалификацию — чего только не случилось с тех пор, как мы закончили школу. Не так уж далеко от Кутулика за это время выросли города юности — Усолье, Ангарск, Братск, Шелехов, Байкальск. В этих городах мы и живем, а еще — в Новосибирске, в Москве, в Бодайбо, а кое-кто даже в городе Брагине. О старом добром Кутулике мы вспоминаем вдруг, нечаянно, столкнувшись друг с другом где-нибудь на углу или на вокзале. Например, на Тверском бульваре в кафе «Эльбрус». Командированные, один из Братска, другой из Усолья, сидят два кутуликских парня, беседуют. Оба не были в Кутулике лет пять, но характер разговора чисто светский.

— Нинку Иванову знаешь?
— Ну, ну?
— Вышла замуж.
— Что ты говоришь!
— Серьезно.

Так нам становится известно, что Нинка вышла замуж, что старик Камашин умер, что закрыли газету и открыли парикмахерскую, что начали строить новый клуб, что речка высохла, а степь за школой распахали до самого леса. Из газет мы узнаем, что наш хлебный район снова выполнил план по хлебу.

Первые годы мы появлялись здесь чаще, приезжали летом на каникулы, в отпуск, собирались иногда по нескольку человек. Тогда с неисправимым самодовольством носили мы по родному селу какой-нибудь обыкновенный гэвээфовский кивер, какие-нибудь погоны или просто рубаху в клеточку. В клубе танцевали по-новому, танго и фокстроты; именно мы привезли сюда узкие штаны, привычку курить сигареты вместо папирос, роковые романсы Лещенко, светлые кепи, словом, весь этот брючно-танцевальный ренессанс. Не думаю, что манеры, завезенные нами из города, обновили жизнь нашего поселка.

Съезжаясь в Кутулике, мы всегда много и охотно дурачились. Слесарь, курсант летного училища, студент первого курса, собравшись вместе, не прочь, например, забраться в чужой огород за огурцами, подпереть чью-то дверь, вечером перекатить телегу с картошкой из одного двора в другой и еще что-нибудь в этом жанре. Если я не ошибаюсь, валять дурака вообще было излюбленным нашим развлечением, в этом есть, я бы сказал, даже особый какой-то кутуликский стиль, какая-то традиция, своя какая-то поэзия. Послушайте нас, когда

мы вспоминаем наш Кутулик, послушайте наши разговоры. Какое удовольствие, например, доставит истинному кутуличанину воспоминание о том, как однажды с друзьями-приятелями он усыпил два десятка кур, разложив их рядком через весь двор, а потом, постучавшись к хозяину, прятался в полыни. Усыпление проделывалось следующим образом: куриная голова пряталась под крыло, а затем бедную птицу крутили некоторое время в воздухе. Лишь через пять минут после описанной процедуры курица освобождала голову, поднималась и ковыляла по двору, точно пьяная. Лунной ночью, поднятый с постели, изумленный хозяин наблюдал, как его куры одна за другой воскресают из мертвых.

Я понимаю восторг, ужас и счастье двенадцатилетнего пацана, когда он, побросав наворованные огурцы, скрывается от погони, несется, исчезает в темную ночь. Но двадцатилетний курсант, бегущий из чужого огорода, — явление не только ненормальное и антиобщественное, но и загадочное явление. В самом деле, что это? Столь долгое детство? Может быть. Вполне может быть. Детство, проведенное в Кутулике, проходит не скоро. Во всяком случае шутку с курами мог придумать, пожалуй, человек, взбесившийся от скуки.

Родители тянутся вслед за детьми. Ближе к детям. В города юности. Поезда, в которых мы носимся по своим делам, в Кутулике почему-то не останавливаются. Мы стоим у окна — не чужие все-таки. Из вагона наш поселок, растянувшийся вдоль речки, — как на ладони. Элеватор, на горке в сосновом лесу РТС, обмелевший пруд, переделанный из церкви кинотеатр «Звезда», синий домик почты, двухэтажная агрошкола, клуб, райисполком, школьный сад... В эти пять минут, пока поезд проносит нас мимо, мы, как полагается, взгрустнем,

вспомним друзей, рыбалку, футбол и наши туманные первые романы. Мы долго смотрим на школу и даже вытянем шею: как там наши акации? Какие ученики сейчас у наших учителей? Если такие же оболтусы, какими были мы, значит, живется нашим учителям нелегко. Заметили вы, как со временем наши учителя вырастают в нашем сознании? В наших воспоминаниях они становятся все лучше и лучше, не правда ли? То же и мы для них. «Вы? — сказала мне недавно одна из моих прежних учительниц. — Какое сравнение! Вы были ангелами...»

Итак, Нижняя улица, огороды, огороды, а вот и крайний домик, где со своей многочисленной семьей живет немой Сережа. Все знакомо. До последней жердочки. Все по-старому. Заброшенная каменоломня, Маров лог, Каменный ложок, блокпост... Проехали... Кутулик не стал городом юности, не стал избранником времени, как Ангарск или Шелехов. Как-то геологи искали здесь нефть, но не нашли и съехали в новое место. И на секунду у нас появится, может быть, настроение, похожее на чувство вины. А в чем мы виноваты?

В Черемхово в вагон входит землячок, и начинаются воспоминания о том, какому испытанию подвергли мы однажды старушку Марову, выясняя, глухая ли она в самом деле или все прикидывается.

Недавно я бродил по нашему поселку, смотрел, узнавал, раздумывал, старался понять, что произошло здесь в мое отсутствие. Новости я услышал еще на станции. Выстроен новый клуб, строится несколько двухэтажных жилых домов, открыли газету...

Знакомых я встретил немного. Одноклассников — никого, кроме одного пилота, который заехал сюда на собственной машине с женой и дочкой — в отпуск, навестить мать. Друзей, из тех, с кем учился в школе в

одно или приблизительно в одно время, повидал двоих. Эти двое здесь живут. Один работает в клубе, другой — лесозаготовитель. Признаться, в Кутулике они остались не из патриотизма, не из горячего желания, а в силу некоторых обстоятельств и определенных свойств собственного характера. Не то, чтобы они неудачники или считают себя таковыми, нет. Но кругом думают, да и сами они сознают, что они тут застряли, так сказать, упустили возможности.

Они странным образом сохранили в себе любовь к анекдотическим выходкам, к тридцати годам причудливо донесли привязанность к шалостям, которые так уместны в четырнадцать лет и так рискованы в двадцать восемь. Один из них, разумеется, не без юмора, сказал мне, показывая на саженцы тополей, выстроившиеся вдоль главной улицы: «Вот, парень, хорошее дело. Вырастут тополя — пригодятся. Идешь по улице, навстречу кредитор — раз, встал за дерево. Идешь дальше — другой. Раз! Снова за дерево».

Итак, детство наше продолжается.

Новый клуб — это, несомненно, событие. Клуб в райцентре — средоточие интеллектуальной жизни, что ни говорите. На месте нового я помню старый, бревенчатый. Послевоенный. Тот, с кинокартинами по частям, с могучими докладами, с вдовами, с чечеткой, с драками и неминуемым вальсом «На сопках Маньчжурии», исполняемым баянистом Семененко. Потом — наш клуб, с духовым оркестром, с драмкружком и полонезом Огинского, а позже — с блюзами по щербатому полу. Помню, как всегда и неудержимо нас тянуло в клуб, какими необыкновенными людьми мы считали всех баянистов и худруков, которые менялись тогда чаще, чем времена года. Это были бедовые ребята. Они приезжали в Куту-

лик на товарных поездах, ослепляли публику невиданной галантностью, неслыханной игрой на баяне, сатирическими куплетами, пропивали иногда часть реквизита и исчезали, как в сказке.

Новый — каменный, вместительный, с роскошным фойе и хорошим зрительным залом. В такое помещение не постеснялся бы въехать московский театр «Современник». Но помещение — только декорации, в которых должен произойти спектакль, так сказать, прекрасный, но еще необжитый остров. Работа, кажется, понемногу начинается, но пока в новом клубе довольно тихо.

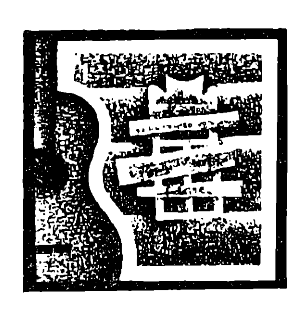
Вот мы сидим в пустом новом клубе, одноклассник-пилот, два приятеля, я и случившийся тут на каникулах незнакомый мне студент-медик. Десять лет назад пилот играл здесь в духовом оркестре, и тот из моих друзей, что работает в клубе, принес пилоту «тенор», сам взял трубу, вдвоем они сыграли краковяк, какой-то бравурный марш и похоронный — ради шутки. Студент-медик поиграл на пианино и пропел несколько песенок Окуджавы. Он, хотя и не грубо, но явно щеголял здесь этими песенками. Я спросил его, что сейчас поделывают бывшие его одноклассники. Он ответил, что работают, учатся, почти все разъехались.

Недавно райком комсомола организовал мероприятие, полное надежд и устремления в будущее. В Кутулик приезжал декан сельхозинститута и прямо здесь вместе с местными учителями принимал вступительные экзамены. Что и говорить, тут, в районе, молодые, умелые и современные, в лучшем понимании этого слова, молодые люди нужны так же, как нужны они в городах юности. Район не производит угля, электричества, но он производит хлеб, и хлеба этого ради существует поселок Кутулик.

Уезжая, я думаю о своих школьных друзьях. О тех, кому сейчас под тридцать, кому поручаются сейчас важные, а через день-два будут поручены еще более важные дела. Думаю о тех, кто навсегда по-сыновнему связан с этой скромной судьбой под названием районный центр. Мысленно я обращаюсь к ним:

— Вот как там, мальчики, наши акации?

Июль 1965 года



ПРОГУЛКИ ПО КУТУЛИКУ

Прогулка первая. Сентиментальная

В Кутулике, возможно, вы никогда не бывали, но из окна вагона вы видели его наверняка. Если вы едете на запад, через полчаса после Черемхова справа вы увидите гладкую, выжженную солнцем гору, а под ней небольшое чахлое болотце; потом на горе появится автомобильная дорога и на той стороне дороги — березы, несколько их мелькнет и перед самым вагонным окном, и болотце сделается узким лужком, разрисованным руслом высыхающей речки. От дороги гора отойдет дальше, снизится и превратится в сосновый лес, темной стеной стоящий в километре от железной дороги. И тогда вы увидите Кутулик: на пригорке старые избы с огородами, выше — новый забор с будкой посредине — стадион, старую школу, выглядывающую из акаций, горстку берез и сосен за серым забором — сад, за ним — несколько новых деревянных домов в два этажа, потом снова два двухэтажных дома, каменных, побеленных, возвышающихся над избами и выделяющихся среди них

своей белизной, — райком и Дом культуры, потом — чайная, одноэтажная, но тоже белая и потому хорошо видимая издалека.

Что дальше? Мосты, переулки, бегущие вниз с пригорка: Больничный, Цыганский, Косой; улица Первомайская у блокпоста, выходящая прямо к полотну; еще два-три заметных строения, каменные и побеленные, — комбинат бытового обслуживания и церковь, переоборудованная в кинотеатр. Дальше — Бараба: избы, палисадники, огороды. И вот уже снова сосновый лес и автомобильная дорога, та самая, которую мы видели перед Кутуликом, Московский тракт.

Таков внешний вид Кутулика, и, если добавить сюда то, что по дороге останется от вас по левую руку: лес, а в нем островками строения — больница, заготскот, нефтебаза и станция, — портрет выйдет достаточно определенный, и в нем, думаю я, без особого труда можно различить лицо райцентра. Деревянный, пыльный, с огородами, со стадом частных коров, но с гостиницей, милицией и стадионом, Кутулик от деревни отстал и к городу не пристал. Словом, райцентр с головы до пят.

Райцентр, похожий на все райцентры России, но на всю Россию все-таки один-единственный.

В Кутулике у меня прошли детство и школьные годы.

Вышло так, что давно уж я здесь не живу, а приезжаю сюда, получается, редко и ненадолго. Вот и сейчас: не был три года, а приехал на неделю.

После школы, помню, уезжал я без сожаления, рвался в город, но все же, когда был студентом, приезжал сюда чаще — каждое лето. Затем друзей и знакомых я находил здесь все меньше и меньше, почти все мои сверстники давно разъехались по городам, иные, что постарше или помоложе, меня уже забыли, иные сами

изменились до неузнаваемости, и вот уже поневоле я чувствую и сознаю здесь свое одиночество.

Но, отдаляясь, не чаще ли я стал возвращаться сюда в своих мыслях?

Я вылез из кабины попутной машины возле школьного сада, прямо против своего бывшего дома. Было шесть вечера, еще жарко, но на траве уже не так, как в машине и на тракте. Через старые ворота я вошел в большой двор, по углам которого стояло четыре дома. Двор был пуст, только куры копошились в дальнем его углу, и у крыльца с перилами мотоцикл мерцал на солнце бежевыми крыльями и тусклыми от пыли ободами. Этот двор назывался «школьная ограда», а в домах, где в каждом было по два, по три крыльца и по стольку же квартир, всегда жили учителя, истопники и уборщицы.

Еще из нашей машины я заметил, что огород у нашего дома разгорожен и растет в нем, как мне показалось, лишь пырей и крапива. Так оно и было. Но из машины я не заметил главного: двери и окна были заколочены. В доме никто не жил.

Я к нему подошел, на крайнем окне доска была оторвана, из щели потянуло на меня осенним, почти лесным запахом плесени. Я зашел с другой стороны, со стороны огорода, и остановился против своих окон. Здесь по-прежнему стояла одна старая лиственница и, помню я, от этого, от ее тени в одной из наших комнат всегда было немного темней. Лиственница жива, за нее все еще можно привязать бельевую веревку, можно забраться по ней на крышу и серы, наверное, еще можно наковырять.

А барак и в самом деле отслужил свое. Построен он из толстых лиственничных бревен, но так давно, что не

только бревна прогнили, но прогнила уже и тесовая обшивка, сделанная много позже. Правда, обшивка вся уже рассыпается и внизу, и вверху, а бревна гнилые только внизу, у земли, а наверху они еще хоть куда, ядреные и годные, пожалуй, и для новой постройки. Когда-то в этом бараке был пересыльный пункт, и здесь ночевали этапные по дороге в Александровский централ. Значит, в этом доме у них был один из последних ночлегов в пути.

Нет, никаких решеток и даже следов от них я никогда не видел. Видимо, был в свое время барак переоборудован, я помню его уже покрытым тесом и крашенным в цвет желтых березовых листьев. На моей памяти в нем всегда жили учителя.

Я представил себе летний вечер, каким он был здесь лет двадцать назад: открытые настежь окна, в доме движение и голоса, горшки гераней, выставленные на завалинку, большую огуречную гряду, маки, подсолнухи в дальнем конце огорода, изгородь из осиновых тычек, в воздухе видимое глазами струящееся от нагретой изгороди тепло и жужжание пчел.

Сейчас я стоял как раз на том месте, где в это время мы разводили тогда небольшой огонек. На солнце он был бледный и, если не было дыму, с другого конца огорода его можно было и не разглядеть. Из кирпичей была устроена простенькая тяга, и ужин готовился тут, чтобы ночью в комнатах не было жарко, и дров сюда надо было меньше, хватало щепок, которые мы, ребятишки, собирали у новой в те времена школы. Из комнат слышен был голос матери, по-учительски громкий и отчетливый, или репродуктор, круглый, черный, из огорода казавшийся дырой в белой стене, распевал: «Где ж вы, где ж вы, очи карие...»

А сейчас окна заколочены, и от них меня отделяет густая метровая крапива. Можно было обойти ее, оторвать от окна пару досок и заглянуть внутрь, но мне не захотелось. Я снова вышел в большой двор и уселся там на скамейке соседнего дома. Захотелось увидеть кого-нибудь из знакомых, но я решил никуда не заходить, а подождать, когда кто-нибудь появится.

Долго никого не было. Прошел поезд, из школьного сада налетел ветерок, дохнул черемухой и исчез. Отсюда была видна дальняя Берестенниковская гора, по ней, как струйка желтого дыма, поднималась к горизонту дорога. Ее вид взволновал меня, как в детстве, когда эта дорога казалась мне бесконечной и обещала множество чудес. Передо мной, за железной дорогой, тянулась другая гора, Иванова, сплошь укрытая сосной и березой. Продолговатые рябые облака стояли над ней высоко и неподвижно.

Все кругом было настолько привычно, что мне на мгновенье показалось, что я вовсе отсюда не уезжал.

Нет, что и говорить, нигде на свете небо не бывает таким ясным и нигде, если долгая непогода, оно не томит так своей безысходностью. Травы пахнут здесь сильней, чем где-либо, и нигде и никогда я не видел дороги заманчивей этой вот, что по дальней горе вьется среди берез и пашен.

...Наконец, скрипнула дверь, из соседнего дома вышла маленькая черноволосая женщина с ведром в руке. Я узнал ее сразу, поднялся и пошел к ней навстречу. Это была тетя Зина, давнишняя школьная уборщица. Я рос на ее глазах, мы рядом жили. Она заметила, что я к ней иду, остановилась и, заслонясь от солнца ладонью, смотрела на меня. Мне показалось, что она совсем не изменилась, а когда я видел ее последний раз —

лет семь назад или десять? «А, — сказала она и назвала меня именем моего брата, хотя, я думаю, она меня узнала, а спутала лишь имена, — давно приехал?» Она говорила, слегка подергивая головой, — это у нее всегда было, — быстро и таким тоном, как будто мы с ней виделись не далее, как вчера. Вблизи я разглядел: нет, сильно постарела, конечно, постарела. Да ведь и лет ей сейчас много, пожалуй. Мы успели сказать всего несколько слов, когда на тракте вдруг раздался грохот.

Тетя Зина встрепенулась и, снова прикрыв ладонью глаза, стала смотреть на ворота. Я оглянулся и увидел, как с мягкой дороги, расплескивая воду, на тракт въехала водовозная бочка. Тащила ее понурая клячонка, а впереди, задом едва касаясь бочки, мостился старик водовоз. Бочка загремела по тракту дальше, в ограду не заехала.

«Куда это он? — заволновалась тетя Зина. — Куда он, черт полосатый?»

Я хотел возобновить разговор, но из этого мало что выходило. Бочка с водой не шла у нее из головы. Я сказал ей, что, дескать, я пока пошел, что буду еще здесь и, стало быть, еще увидимся. И направился в школу. Тетя Зина успела мне сказать, что там сейчас идут последние экзамены.

Прогулка вторая. По асфальту

Кутулик подрос и похорошел. Появилась совсем новая улица, за школьным садом достраивается несколько двухэтажных жилых домов. За райкомом разбили новый сквер, у стадиона — сквер, на главной улице подрастают молодые тополя. Вырастить их было непросто, тополя высаживались здесь много раз, и много раз ничего не

выходило. То стадо их вытаптывало, то козы уничтожали, то еще что-нибудь с ними случалось. Вообще-то в сибирских селах нет привычки сажать деревья на улицах. Объясняется это отчасти тем, что поначалу сибирские деревни со всех сторон окружены были лесом, — какие еще нужны были деревья? Избы украшались лишь небольшими палисадниками с черемухой, рябиной, кустами малины, и было хорошо. Но впоследствии, когда лес вокруг постепенно был вырублен и на его месте появились поля и поскотины, села обнажились, и вид их сделался и унылым, и легкомысленным каким-то. Палисадники с кустарниками уже не спасают эти села ни от пыли, ни от беспризорности вида.

Итак, в Кутулике зашумели тополя. Тут же, на главной улице, произошла перемена, которой кутуликчане придают немалое значение. Старые тротуары исчезли, и заменил их асфальт, этот пресловутый синоним всего городского, этот первейший признак сближения города и деревни. По мне хороший деревянный тротуар лучше, но в Кутулике тротуар был старый, часто прерывался, асфальт к тому же практичнее, так что... Словом, асфальт так асфальт, не в этом дело.

Сегодня суббота, прохожие, как я замечаю, одеты чисто, нарядно. Все девушки модницы. Да что девушки, а парни? Они одеты в белые рубахи и в эти свои повсеместные испанские штаны с широченной опушкой, узкие в коленях и разогнанные книзу до ширины флотских брюк. Когда несколько таких ребят молча стоят где-нибудь возле чайной, то кажется, что они собрались сюда, чтобы сплясать болеро, и ждут только, когда ударят кастаньеты и гитара. Гитара, впрочем, тут, при них, но носят они ее с собой больше для антуражу или для того, чтобы, копируя нынешних менестрелей, которые по-

ют теперь по радио, стучать пятерней по неизменным трем аккордам. «Парня в горы зови, тяни... там поймешь, кто такой». Словом, парни — модники, как везде сейчас. Волосы они здесь, правда, еще не красят, но, кто знает, и это, быть может, привьется впоследствии. Надо заметить, что ребята эти не бездельники какие-нибудь, а служащие, десятиклассники, студенты на каникулах, механизаторы даже. Теперь мода такая, и они, так сказать, на уровне.

В этот день испанские штаны небольшими группами шествовали по направлению к стадиону. Оказывается, там второй день шли районные футбольные состязания.

Стадион, теперь огороженный, с приличным полем, со скамейками для зрителей, в былые времена был горбатым пустырем с одними лишь футбольными воротами. И на этом пустыре, помню, несколько лет подряд сражались одни и те же, единственные в районе команды Кутулика и шахтерского поселка Забитуй. Спортивной организации в Кутулике тогда еще не существовало, почти все игроки учились в средней школе; то же и забитуйцы, которые, бывало, добирались до места встречи где на попутных машинах, где пешком, а то и на товарных поездах. Поезда в те времена таскали паровозы, и на подъеме, где они замедляли ход, футбольная команда десантом высаживалась в Кутулике. Играли, бывало, часами, до изнеможения, до темноты. Ну, вот, например, победоносная поездка кутуликской команды в Зиму. В двух словах, было так. Один зиминский парнишка, который случайно оказался в Кутулике, посмотрел, как пинают мяч кутуликские форварды, попинал вместе с ними, а потом от собственного имени предложил им встречу на зиминском поле. Предложение было принято, и назавтра кутуликчане сели в поезд

и отправились добывать себе спортивную славу в Зиме, за девяносто километров. Ехали они без билета, и всю дорогу до самой Зимы команда вместо разминки бегала от контролеров по вагонам и по крышам вагонов. Тот парнишка исправно ждал их в Зиме на станции, матч состоялся, и кутуликчане выиграли.

Позже появились спортивное общество, спортивные деятели, бутсы, и команда стала разъезжать на машинах. Но в районе все так же было две команды.

Я вошел на стадион и удивился. Никогда я не видел здесь столько болельщиков и никак не думал, что в Кутулике столько почитателей футбола. Они заняли небольшую трибунку, все скамейки, сидели на траве, на заборе, тучами стояли за воротами. Их было много, но еще больше меня поразило количество футболистов. По всем углам стадиона, вдоль заборов они стояли тут табор к табору, отделяясь друг от друга лишь цветом маек: сиреневые, белые, красные, желтые и т. д. Мне кажется, их было больше, чем болельщиков.

На районные соревнования съехалось что-то около пятнадцати команд, а игры продолжались три дня. Команды прибыли чуть ли не из каждого колхоза.

На поле шла игра и, надо заметить, весьма приличная игра. Сражались две колхозные команды. Команде, которая когда-то ездила в Зиму, такая игра и во сне не снилась. Я прислушался к разговорам болельщиков, разговоры оказались квалифицированные, с упоминанием новейших тактик, Сандерленда, Эйсебио. Положительно, в Кутулик пришла золотая футбольная эра.

Но тут я вспомнил городские футбольные ажиотажи, ночные бдения у телевизоров, москвичей, которые по вечерам собираются у стен стадиона «Динамо» и, сбившись в кучу, до поздней ночи, а то и до утра гудят, как

отроившийся улей. Да, да, я вспомнил полупомешанных и от удивления перешел к размышлению.

В Кутулике теперь тоже смотрят телевизор, а значит, видели и Милан, и Сандерленд, и тоже, стало быть, на уровне. Телевизоров здесь пока еще немного, но вот узнал я, что в районной библиотеке, например, установлен телевизор. Для общего пользования. Работники библиотеки не без удовольствия рассказывают, что в дни, когда передается футбольный матч, у них бывает много посетителей. Удовольствие библиотекарей напоминает мне удовольствие драматических актеров, концертирующих на своих подмостках с представлениями типа «Зримой песни». Увы, в Кутуликскую библиотеку в футбольные дни идут не читатели, но болельщики, ровно так же, как в драматический театр в дни «Зримой песни» устремляются отнюдь не почитатели драмы, но куда более многочисленные приверженцы эстрады и мюзик-холла.

А тут показали мне команду, которая в этом соревновании защищала честь самого Кутулика. Ребята все молодые, интересные, окружили какую-то девушку и беседуют с нею все разом. Потом вижу — нет, не беседуют, а скорее спорят, горячатся, а весьма строгого вида девушка горячится тоже и отчаянно жестикулирует. Затем они по одному, по двое уходят куда-то с решительным видом. Один из них проходил мимо меня, и я видел, как он сплюнул даже, и слышал, как он весьма решительным образом выразился. А девушка все что-то доказывала тем, остальным. Я решил выяснить, в чем дело.

Строгого вида девушка оказалась секретарем райкома комсомола. Она уговаривала кутуликских футболистов принять участие в состязании. Они отказывались.

Природа конфликта заключалась в том, что хозяева поля не получили денег, которые они хотели получить. Приезжим командам выдали деньги на пропитание в районной чайной, это понятно. Кутуликчане, проживая в самом Кутулике, столовались, естественно, дома. Но они тоже требовали деньги на пропитание. Это отдавало уже высоким футбольным классом. Хотя многие из них долго упорствовали, игра все-таки состоялась, хозяева поля проиграли и по всем правилам футбольной борьбы из дальнейших состязаний выбыли.

Болельщики, разумеется, были недовольны своей командой, но со стадиона не уходили. Были здесь и шум, и свист, и буфет с пивом, и конфликты разного рода, словом, все, что полагается. Был тут и фатальный, неизбежный почти в таких обстоятельствах дядя Вася, человек в суконных зимних ботинках, немолодой, небритый, нетрезвый, но существующий для увеселения публики. На беговую дорожку между полем и скамейками он выходил, как на манеж. Раскачиваясь и спотыкаясь отчасти по естественным причинам, отчасти для того, чтобы нравиться публике, он комментировал матч, философствовал, сквернословил. Его выводили, но через некоторое время он появлялся снова. И публике он нравился, она его слушала и наблюдала за ним с удовольствием.

Кутулик на три дня погрузился в золотой футбольный бред, а финальная игра была назначена даже на четвертый день, на понедельник.

По вечерам после игр колхозные футболисты облачались в испанские штаны и большими компаниями бродили по главной улице.

Новый Дом культуры — солидное каменное здание с большим залом, фойе, изрядным количеством комнат, в нем свободно поместился бы целый театр. Я отправился туда в первый же вечер и попал на концерт. Зал был набит битком. На сцене молодая, красиво одетая женщина исполняла народные песни. Аккомпанировали ей на баянах два парня. Пела она славно, а парни-аккомпаниаторы время от времени радостно улыбались. И я пожалел, что в эту минуту нет здесь со мной кого-нибудь чужого, нездешнего, кому я мог сейчас сказать: «Ну, каково у нас, в Кутулике?.. Вот так». Но человека такого рядом не было, и я молчал, полностью разделяя благоговейное внимание зрителей. Певица спела на бис, раскланялась и удалилась. Потом вышел конферансье с довольно приличными манерами и объявил новую певицу с эстрадным квинтетом. «И квинтет имеется, — подумал я с удовольствием,—ничего себе, развернулись ребята».

И действительно, на сцене появились ребята, здоровые как на подбор и все с радостными улыбками. Неужели учителя, подумал я. Или агрономы? Они ударили какой-то мотив, и на сцену быстро вышла лет тридцати пяти певица, ярчайшая блондинка, полная, в коротком платье. Она с такой отвагой изображала семнадцатилетнюю девочку, что в голове у меня мелькнуло сомнение — кутуликская ли это программа? Квинтет прибавил духу и понеслось.

— Гуси! Гуси! — вскрикивала певица, взмахивая полными белыми руками.

— Га! Га! Га! — откликался ей весь квинтет, радостно улыбаясь.

— Есть хотите? — спрашивала она у музыкантов лукавым голосом и оборачивалась к ним в этот момент.

— Да! Да! Да! — басили музыканты.

Нет, не Кутулик, подумал я, теперь уже с некоторым облегчением.

«Чей концерт?» — спросил я соседа. «Из Читы», — ответил он. Ага, подумал я, гастролеры. Песня мне показалась неоправданно длинной, давно уже все было ясно, а они все продолжали:

— Есть хотите?

— Конечно!

Действительно, это была разъездная читинская эстрада. Далее был жонглер, эквилибристы, чтец-декламатор и прочее. Было тут и «парня в горы зови, тяни».

В Кутулике своего квинтета не оказалось. Оказались лишь танцы в фойе, радиола, баян. Больше ничего.

На танцы народу в клуб собирается немного, да и, правду сказать, танцы скучные. На баяне играет сам художественный руководитель Дома культуры, молодой симпатичный человек. Едва ли справедливо одного его упрекать в том, что в Кутулике нет квинтета, драмкружка и многого другого, что могло бы быть при районном клубе. Но, по-моему, есть смысл привести здесь одно, как мне кажется, весьма характерное суждение молодого художественного руководителя. Появившись в Кутулике недавно и, очевидно, совершенно справедливо требуя для себя квартиру, он, как мне рассказали, в объяснениях с начальством нажимал главным образом на то обстоятельство, что не иметь в его положении квартиры несолидно. Как видите, обычные и печально однообразные в таком деле доводы «негде жить, невозможно работать», в данном случае уступили место

аргументу новому, куда более «тонкому» и «возвышенному» — несолидно. Этот аргумент, если принять во внимание, что так много не хватает квартир, чтобы в них просто-напросто жить, аргумент с первого взгляда вроде бы комичный. Но, как подумаешь, смеяться, получается, тут вовсе нечему. Выходит, не смеяться надо, а даже наоборот — надо печалиться, что пришел такой аргумент в голову молодому симпатичному специалисту.

Но вернемся на танцы. Я думаю, что самые страстные поклонники танцев — это как раз те, кто, присутствуя на танцах, в танцах не участвует. Встретить их можно почти всюду, есть они и в кутуликском клубе.

Ростом уже немаленькие, но по-детски еще худые и угловатые, они стоят у выхода из фойе, разговаривают между собой и занимаются как бы больше всего друг другом, своей компанией, тем самым явно выказывая равнодушие к танцам. Вы там, дескать, давайте, шаркайте, протирайте сколько влезет полы, они казенные, а мы тут малость постоим, поговорим, у нас дела поважнее. На самом деле не думают они ни о чем, кроме танцев, и ничего, кроме танцев, не видят. Взгляды, которые бросают они как бы вскользь на сидящих вдоль стены девчонок, выдают их с головы до пят. Воображение их кипит, нервы напряжены, в головах бродят угрюмые, недетские мысли. Драма, которую переживает эта компания, называется несовершеннолетие.

Бывают у них, наверное, и свои танцы — в школе, на именинах, но танцы в Доме культуры, о, это совсем другое. Это взрослые танцы. Здесь, в ярко освещенном зале, собрался народ разный: девчонки из сельхозучилища, юные, но уже довольно самостоятельные, в коротких юбках, вольно причесанные, сидящие вдоль зала

чинно, неприступно, но, несомненно, — в ожидании интересных и значительных знакомств; молодые специалистки, модные, чуть чопорные, но полностью уже самостоятельные; две молодые женщины, заехавшие в Кутулик в гости, веселые, свободные, ярко накрашенные, в одинаковых белых юбках — уже окончательно самостоятельные, дачницы, как я их назвал про себя. Словом, здесь возможности, тайны, надежды и все, все, что так привлекает сюда этих ребят, смиренно толпящихся у входа. И если кто-нибудь самый отчаянный из них подойдет, наконец, к женщине и пригласит ее танцевать, и если она ему не откажет, как они будут ему завидовать и как будут скрывать свою зависть!

Они несколько раз куда-то исчезали, но к концу танцев снова собрались все у дверей. Танцевать никто из них так и не насмелился. А вот уже баянист оборвал вальс, поднялся и вдруг заиграл в бешеном темпе фокстрот «вышибаловку», как раньше тут говорили, — это означало, что танцы окончены. Подростки вышли первыми. Ну вот, подумал я, еще один вечер закончился для них разочарованием. Они, думал я, разошлись, и каждый свою тайную досаду несет сейчас домой, где родители, возможно, будут удивляться: где, интересно, сынок так долго проходил и почему он вернулся такой злой? Так думал я, но, увы, заблуждался.

Было темно, духота не проходила, и чувствовалось, что облака над головой низкие и тяжелые. Собирался дождь. Я шел в гостиницу, передо мной в темноте шли две девушки в большой компании парней. В девушках по белеющим в темноте юбкам я опознал «дачниц», парни были скрыты мраком ночи. Невольно я слышал их разговоры. Судя по разговорам, молодые люди еще не были с девушками знакомы. Однако беседу они затея-

ли такую непринужденную, что бойкие дачницы, чувствую, дрогнули и смутились. В выражениях ребята не стесняли себя совершенно. Их виды на ближайшее будущее оказались настолько дерзкими и высказаны были так прямолинейно, что девушки замолчали и прибавили шагу. Они явно побаивались. Парни не отставали.

В это время компания оказалась под фонарем, который сиротливо покачивался на столбе против отделения милиции. Девчонки побежали бегом, парни под фонарем остановились, и неожиданно я узнал в них тех самых подростков, которые все танцы смирно простояли у дверей.

Да, по домам они не разошлись, и переживания, которые я приписывал им в своих мыслях, на самом деле были не такими уж страшными и вовсе не тайными. Я думал об одних, эти оказались другими. Словом, драмы не вышло, вышел фарс да и при том весьма скверный.

Я узнал, что по ночам здесь иногда пошаливают, нет-нет да кого-нибудь ограбят, а из разговоров с работниками милиции, суда и прокуратуры выяснилось, что изрядную часть хлопот суду и милиции создают молодые люди, в особенности лица в возрасте четырнадцати — семнадцати лет.

При сем обращает на себя внимание то обстоятельство, что участились случаи преступлений, совершаемых без явных на то мотивов. То есть бывает так, что воруют, например, не с целью наживы и обогащения, но больше как бы для развлечения, а хулиганят порой как-то особенно бессмысленно. Иные проступки не сразу объяснишь, и бывает, что они с трудом поддаются определению суда. В моем блокноте есть такие факты.

Здесь нашумело дело о хулиганстве, бесчинстве и воровстве, учиненных пятью черемховскими школьниками в деревне Табарсук, что находится неподалеку от Кутулика. Вот это дело вкратце. В ночь под новый, 1968 год два пятиклассника, два семиклассника и студент первого курса горного техникума из Черемхова прибыли поездом в Кутулик, а по прибытии пешком направились в деревню Табарсук. В Табарсуке они забрались в пустую школу, где учинили ряд бессмысленных безобразий, часть из которых непристойна и не подлежит описанию. Кроме того, они разбили там патефонные пластинки, разбросали и растоптали ногами приготовленные для школьного утренника новогодние завтраки. Затем ограбили дом председателя и колхозника Вязьмина и ушли в село Большая Ерма, где снова устроились в школе. В Большой Ерме они топили печь классными журналами и тетрадями.

В подробностях это новогоднее приключение удивляет не так грабежами, как цинизмом его юных участников. По сравнению с циничностью некоторых их проделок, не причинивших, кстати, никакого материального ущерба ни обществу, ни частным лицам, грабежи и воровство, то есть все материальные издержки этой истории, какими бы крупными они ни были, кажутся мне сущими пустяками.

Преступники отбывают наказание, но и по выходе их на свободу вина не будет искуплена, если виноватым не почувствует себя каждый, кто знаком с этой или другой, похожей на нее историей.

Именно тут мои заметки подходят, как мне кажется, к логическому концу.

Происшествие в Табарсуке характерно также одной любопытной деталью, которой, как мне показалось, кутуличане придают преувеличенное значение. На стенах, в которых бесчинствовали хулиганы, они оставляли сакраментальную подпись: «Фантомас». И вот это обстоятельство для многих почему-то сделалось объяснением всей этой истории и чуть ли не единственной причиной ее. Ну да, говорили, показали детям этот безнравственный заграничный фильм и, пожалуйста вам, результаты.

Вот как получается. Легко, весело и просто... А если не было бы этого фильма, не случилось бы все в Табарсуке в точности так, как случилось, разве только на стене вместо Фантомаса хулиганы написали бы что-нибудь попроще? Дело не в Фантомасе... Фантомас — капля в море причин, из которых являются иногда дикие, порой жутковатые следствия.

Поиски ответов на вопросы — как это могло случиться и кто в этом виноват, идут, как правило, по маршруту: родители — школа — улица. Комиссия идет к родителям, от родителей в школу, из школы на улицу, а на улице, естественно, разводят руками. Тут наша комиссия сталкивается с некоей неопределенностью, которую невозможно ни оштрафовать, ни дать ей выговора, ни поставить на вид, словом, неопределенность эту, называемую иногда средой, никак нельзя привлечь к ответственности.

Нельзя? Но почему нельзя? Можно. Ведь среда — это мы сами. Мы, взятые все вместе. А если так, то разве не среда — каждый из нас, в отдельности? Да, выходит, среда — это то, как каждый из нас работает, ест,

пьет, что каждый из нас любит и чего не любит, во что верит и чему не верит, и, значит, каждый может спросить самого себя со всей строгостью: что в моей жизни, в моих мыслях, в моих поступках есть такого, что дурно отражается на других людях?

Спросить, ответить на этот вопрос, а потом жить по-новому? Как просто! Как легко на словах и как нелегко на деле.

Да, задать себе такой вопрос — не штука, ответить на него труднее, потому что в этом случае уже надо понимать, что хорошо и что плохо. Но какая сила нужна, чтобы от ответов и вопросов перейти к действию. Какая для этого нужна совесть, какая вера в лучшее, какое чувство справедливости, словом, сколько для этого нужно всего того, что называем мы духовным богатством человека!

Такого примерно рода мыслям предавался я, уезжая из Кутулика.

У блокпоста, в конце Первомайской улицы, мы, несколько пассажиров, расселись на траве в ожидании электрички. Нас было четверо. Полная, поминутно стонущая и охающая бабка, возвращающаяся в Черемхово из гостей, две девчонки, направляющиеся в Ангарск подавать в техникум документы, и я. Было два часа дня — самая жара, все сидели молча и думали каждый о своем. Бабка одной рукой обнимала зеленое эмалированное ведро, из которого торчали луковые перья и хвосты редиски. Электричка запаздывала, ожидание становилось томительным, но тут неожиданно нас развлекли вертолеты. Они появились из-за березового перелеска и летели над полотном, прямо над нами. Сначала пролетело три, потом еще три, потом еще и так — пятнадцать вертолетов. Тени их одна за другой прыгали по

крышам Первомайской улицы, и от этого казалось, что дома и сама улица тоже пришли в движение. Бабка как-то украдкой перекрестила себя, а потом совсем уже чуть заметно, одним почти движением — тройку вертолетов.

Да, продолжал я свои размышления, конечно, прежде всего человеку нужны еда, одежда и крыша над головой. Но не хлебом единым жив человек, гласит старинная истина. Истиной она была в старину, истиной она остается и по сей день. И особенное значение она, на мой взгляд, приобретает сейчас, когда крыши наши становятся поновей, еда посытнее, одежда покрасивее.

Пришла электричка, и мы уехали.

Август 1968 года

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Валентинович Вампилов

БИЛЕТ НА УСТЬ-ИЛИМ

Редактор **Ф. Л. Цыпкина**
Художник **Е. П. Ревяков**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **В. А. Преображенская**
Корректор **Л. В. Дорофеева**

ИБ № 1274

Сдано в набор 05.07.78. Подписано в печать 02.02.79. А04539. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура журнально-рубленая. Печать высокая. Усл. печ. л. 3,85. Уч.-изд. л. 3,03. Тираж 100.000 экз. Заказ № 1361. Цена 10 коп. Изд. инд. ХД-178.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

10 коп.

